Классика

Зарубежная фантастика

Звезда по имени Галь
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Сборник фантастических рассказов

Издательство «Мир»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник рассказов, вошедших в сокровищницу мировой фантастики, в переводах замечательного мастера Норы Галь. В него включены произведения известных писателей — фантастов Великобритании и США — А. Азимова, П. Андерсона, Дж. Блиша, Р. Брэдбери,…

Содержание антологии:

* Предисловие редакции
* Звезда по имени Галь
* **Что, если…** / What If (1952) // Автор: **Айзек Азимов**
* **Мой сын — физик** / My Son, the Physicist (1962) // Автор: **Айзек Азимов**
* **Сестра Земли** / Sister Planet (1959) // Автор: **Пол Андерсон**
* **День статистика** / Statistician's Day (1970) // Автор: **Джеймс Блиш**
* **Человек в картинках** / The Illustrated Man [= Разрисованный] (1950) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Калейдоскоп** / Kaleidoscope (1949) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **На большой дороге** / The Highway (1950) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Завтра конец света** / The Last Night of the World (1951) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Кошки-мышки** / The Fox and the Forest [= Лиса в лесу; Обратно в будущее; В будущее / To the Future; The Fox in the Forest; Escape] (1950) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Бетономешалка** / The Concrete Mixer [= Мельница] (1949) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Урочный час** / Zero Hour (1947) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Ракета** / The Rocket [= Outcast of the Stars] (1950) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Здравствуй и прощай** / Hail and Farewell [= Здравствуй — прощай!] (1953) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Убийца** / The Murderer (1953) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Пешеход** / The Pedestrian (1951) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Пустыня** / The Wilderness [= Honeymoon on Mars] (1952) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Погожий день** / In a Season of Calm Weather [= В штиль; В солнечный день; Бархатный сезон / The Picasso Summer] (1957) // Автор: **Рэй Брэдбери**
* **Дракон** / The Dragon (1955) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Конец начальной поры** / The End of the Beginning [= Конец начала / Next Stop: the Stars] (1956) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Запах сарсапарели** / A Scent of Sarsaparilla [= Scent of Summer] (1953) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Икар Монгольфье Райт** / Icarus Montgolfier Wright (1956) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Были они смуглые и золотоглазые** / Dark They Were, and Golden-eyed [= Золотоглазые; Они были смуглые и золотоглазые / The Naming of Names] (1949) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Всё лето в один день** / All Summer in a Day (1954) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Берег на закате** / The Shoreline at Sunset [= Арфа в лучах заходящего солнца / The Sunset Harp] (1959) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Земляничное окошко** / The Strawberry Window (1954) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Превращение** / Chrysalis [= Куколка] (1946) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **И все-таки наш...** / Tomorrow's Child [= Ребенок завтра; А ребенок завтра / The Shape of Things] (1948) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Машина до Килиманджаро** / The Kilimanjaro Device [= Машина Килиманджаро / The Kilimanjaro Machine] (1965) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **О скитаньях вечных и о Земле** / Forever and the Earth [= Год Ракеты] (1950) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* **Лучезарный Феникс** / Bright Phoenix (1963) // Автор: **Рэй Брэдбери**

* Гостиница вне нашего мира / The Inn Outside the World (1945) // Автор: Эдмонд Гамильтон

* **Планерята** / Volpla (1956) // Автор: **Уаймен Гвин**

* Первоисточники

- Звезда по имени Галь. Земляничное окошко
  - ○
  - ○ Айзек Азимов
  - ○ Айзек Азимов
  - ○ Пол Андерсон
  - ○ Джеймс Блиш
  - ○ Рэй Брэдбери
  - ○ Рэй Брэдбери
  - ○ Рэй Брэдбери
  - ○ Рэй Брэдбери

- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери. Берег на закате
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Рэй Брэдбери
- Эдмонд Гамильтон
- Уаймен Гвин

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Звезда по имени Галь. Земляничное окошко

Сборник рассказов

Сборник рассказов, вошедших в сокровищницу мировой фантастики, в переводах замечательного мастера Норы Галь. В него включены произведения известных писателей — фантастов Великобритании и США — А. Азимова, П. Андерсона, Дж. Блиша, Р. Брэдбери,…

Айзек Азимов
Что если…

Разумеется, Норман и Ливи опаздывали — когда спешишь на поезд, в последнюю минуту непременно что-нибудь да задержит, — и в вагоне почти не осталось свободных мест. Пришлось сесть впереди, так что взгляд упирался в скамью напротив, обращенную спинкой к движению и примыкавшую к стенке вагона. Норман стал закидывать чемодан в сетку, и Ливи досадливо поморщилась.

Если какая-либо пара сядет напротив, придется всю дорогу до Нью-Йорка, несколько часов кряду, с глупейшим ощущением неловкости пялить глаза друг на друга, что едва ли приятнее — отгородиться барьерами газетных листов. Но искать по всему поезду, не найдется ли еще где-нибудь свободного места, тоже нет смысла.

Нормана, кажется, все это ничуть не трогало, и Ливи немножко огорчилась. Обычно они на все отзываются одинаково. Именно поэтому, как уверяет Норман, он и по сей день нимало не сомневается, что правильно выбрал себе жену.

«Мы подходим друг другу, Ливи, это главное, — говорил он. — Когда решаешь головоломку и один кусочек в точности подошел к другому, значит, он-то здесь и нужен. Никакой другой не подойдет. Ну а мне не подойдет никакая другая женщина».

А она смеется и отвечает:

«Если бы в этот день ты не сел в трамвай, мы бы, наверное, никогда бы и не встретились. Что бы ты тогда делал?»

«Остался бы холостяком, разумеется. И потом, не в тот день, так в другой, все равно я бы познакомился бы с тобой через Жоржетту».

«Тогда все вышло бы по-другому».

«Нет, так же».

«Нет, не так. И потом, Жоржетта ни за что бы меня с тобой не познакомила. Она тебя приберегала для себя и уж постаралась бы не обзаводиться соперницей, не тот у нее характер».

«Что за чепуха».

И тут Ливи — в который уже раз — спросила:

— Слушай, Норман, а что если бы ты пришел на угол минутой позже и сел бы не в тот трамвай, а в следующий? Как по-твоему, что бы тогда было?

— А что если у всех рыб выросли крылья и они улетели бы на высокие горы? Что бы мы тогда ели по пятницам?

Но они тогда все-таки сели в тот самый трамвай, и у рыб не растут крылья, а потому они уже пять лет женаты и по пятницам едят рыбу. И так как они женаты уже целых пять лет, они решили это отпраздновать и едут на неделю в Нью-Йорк.

Тут она вернулась к настоящему:

— Неудачные нам все-таки попались места.

— Да, верно, — сказал Норман. — Но ведь напротив пока никого нет, так что мы более или менее одни хотя бы до Провиденса.

Но Ливи это не утешило, и недаром она огорчалась: по проходу шагал маленький кругленький человечек. Откуда он, спрашивается, взялся? Поезд прошел уже полпути между Бостоном и Провиденсом. Если этот человечек раньше где-то сидел, чего ради ему вздумалось менять место? Ливи достала пудреницу и погляделась в зеркало. Если не обращать внимания на этого коротышку, может, он еще и пройдет мимо. И она поправила свои светло-каштановые волосы, которые чуточку растрепались, пока они с Норманом бежали к поезду, и принялась изучать в зеркальце голубые глаза и маленький пухлый рот — Норман уверяет, что губы ее всегда сложены для поцелуя.

Недурно, подумала она, глядя на свое отражение.

Потом она подняла глаза — тот человечек уже сидел напротив. Он встретился с нею взглядом и широко улыбнулся. От улыбки во все стороны разбежались морщинки. Он поспешно стянул шляпу и положил ее на свой багаж — маленький черный ящичек. Тотчас на голове у него вокруг голой, как пустыня, лысины вздыбился венчик седых волос.

Ливи невольно улыбнулась в ответ, но тут взгляд ее снова упал на черный ящик — и улыбка угасла. Она тронула Нормана за локоть.

Норман поднял глаза от газеты. Брови у него такие грозные — черные, сросшиеся, — что впору испугаться. Но темные глаза из-под этих бровей глянули на нее, как всегда, и ласково и словно бы чуть насмешливо.

— Что случилось? — спросил Норман. На человечка напротив он не взглянул.

Кивком, потом рукой Ливи пыталась незаметно показать, что именно ее поразило. Но толстяк не сводил с нее глаз, и она почувствовала себя преглупо, потому что Норман только уставился на нее, ничего не понимая. Наконец она притянула его к себе и шепнула на ухо:

— Ты разве не видишь? Смотри, что написано у него на ящике.

И сама посмотрела еще раз. Да, так и есть. Надпись была не

очень заметна, но свет падал вкось, и на черном фоне виднелось блестящее пятно, а на нем старательно, округлым почерком выведено:

ЧТО ЕСЛИ

Человечек снова улыбался. Он торопливо закивал и несколько раз кряду ткнул пальцем в эту надпись, а потом себе в грудь.

Норман повернулся к жене, а потом сказал тихонько:

— Наверное, его так зовут.

— Да разве такие имена бывают? — возразили Ливи.

Норман отложил газету.

— Сейчас увидишь. — И, наклонясь к человечку, сказал: — Мистер Если?

Тот с готовностью поглядел на него.

— Не скажете ли, который час, мистер Если?

Человечек вытащил из жилетного кармана большущие часы и показал Норману циферблат.

— Благодарю вас, мистер Если, — сказал Норман. И шепнул жене: — Вот видишь.

Он уже хотел опять взяться за газету, но человечек стал открывать свой ящик и несколько раз многозначительно поднял палец, словно старался привлечь внимание Нормана и Ливи. Он достал пластинку матового стекла, примерно девяти дюймов в длину, шести в ширину и около дюйма толщиной. Края пластинки были скошены, углы закруглены, поверхность совершенно слепая и гладкая. Потом человечек вытащил проволочную подставку и надежно приладил к ней пластинку. Установил это сооружение у себя на коленях и гордо посмотрел на попутчиков.

Ливи вдруг ахнула:

— Смотри, Норман, это вроде кино!

Норман наклонился поближе. Потом поднял глаза на человечка.

— Что это у вас? Телевизор новой системы?

Человечек покачал головой, и тут Ливи сказала:

— Норман, да это мы с тобой!

— То есть как?

— Разве ты не видишь? Это тот самый трамвай. Вон ты сидишь на задней скамейке, в старой шляпе, уже три года, как я ее выкинула. А вот мы с Жоржеттой идем по проходу. И толстая дама загородила дорогу. Вот, смотри! Это мы! Неужели не узнаешь?

— Какой-то обман зрения, — пробормотал Норман.

— Но ведь ты же видишь, правда? Так вот почему он называет

это «Что если». Эта штука нам сейчас покажет, что было бы, если… если бы трамвай не качнуло на повороте…

Она ничуть не сомневалась. Она была очень взволнована и ничуть не сомневалась, что так оно и будет. Она смотрела на изображение в матовом стекле — и предвечернее солнце померкло, и невнятный гул голосов позади, в вагоне, начал стихать.

Как она помнила тот день! Норман был знаком с Жоржеттой и уже хотел встать и уступить ей место, но вдруг трамвай качнуло на повороте, Ливи пошатнулась — и шлепнулась прямо ему на колени. Получилось очень смешно и неловко, но из этого вышел толк. Она до того смутилась, что он поневоле должен был проявить какую-то учтивость, а потом и разговор завязался. И вовсе не потребовалось, чтобы Жоржетта их знакомила. К тому времени, как они обе вышли из трамвая, Норман уже знал, где Ливи работает.

Она и по сей день помнит, какими злыми глазами смотрела на нее тогда Жоржетта, как натянуто улыбнулась, когда они стали прощаться. Потом сказала:

— Ты, кажется, понравилась Норману.

— Что за глупости! — возразила Ливи. — Просто он человек вежливый. Но у него славное лицо, правда?

Всего через каких-нибудь полгода они поженились.

И вот он опять перед ними, тот трамвай, а в трамвае — Норман, она и Жоржетта. Пока она так думала, мерный шум поезда, торопливый перестук колес затихли окончательно. И вот она в тряском, тесном трамвайном вагоне. Она с Жоржеттой только что вошли.

Ливи покачивалась в лад ходу трамвая, как и остальные сорок пассажиров, — все они, стоя ли, сидя ли, подчинялись одному и тому же однообразному и нелепому ритму. Потом она сказала:

— Тебе кто-то машет, Жоржи. Ты его знаешь?

— Мне? — Жоржетта бросила рассчитанно небрежный взгляд через плечо. Ее искусно удлиненные ресницы затрепетали. — Да, немного знаю. Как по-твоему, зачем мы ему понадобились?

— Давай выясним, — сказала Ливи с удовольствием и даже с капелькой ехидства. Всем известно, что Жоржетта никому не показывает своих знакомых мужчин, будто они — ее собственность, и очень приятно ее подразнить. Да и лицо у этого ее знакомца, кажется, очень… занятное.

Ливи стала пробираться вперед, Жоржетта нехотя двинулась следом. Наконец Ливи оказалась подле того молодого человека, и тут вагон сильно качнуло на повороте. Ливи отчаянно взмахнула

рукой, стараясь ухватиться за петли. С трудом, самыми кончиками пальцев, все-таки поймала одну и удержалась на ногах. Не сразу ей удалось перевести дух. Как странно, ведь секунду назад ей казалось, что в пределах досягаемости нет ни одной петли. Почему-то у Ливи было такое чувство, что по всем законам физики она непременно должна была упасть.

Молодой человек на нее не смотрел. Он с улыбкой поднялся, уступая место Жоржетте. У него были необыкновенные брови, они придавали ему вид уверенный и властный. Да, безусловно, он мне нравится, подумала Ливи.

— Нет-нет, не беспокойтесь, — говорила между тем Жоржетта. — Мы скоро выходим, нам только две остановки.

И они вышли. Ливи сказала:

— А я думала, мы едем за покупками к Сэчу.

— Мы и поедем. Просто я вспомнила, что у меня тут есть еще одно дело. Ничего, мы и минуты не задержимся.

— Следующая станция — Провиденс! — завопило радио.

Поезд замедлил ход, прошлое вновь съежилось и ушло в пластинку матового стекла. Человечек по-прежнему улыбался им обоим.

Ливи обернулась к Норману. Ей стало страшновато.

— С тобой тоже это было? — спросила она.

— Что такое стряслось со временем? — спросил Норман. — Неужели уже Провиденс? Невероятно! — Он взглянул на часы. — Нет, видно так оно и есть. — И обернулся к Ливи. — На этот раз ты не упала.

— Значит, ты тоже видел? — Она нахмурилась. — Как это похоже на Жоржетту! Совершенно незачем было выходить на той остановке, просто она не хотела, чтобы мы с тобой познакомились. А до этого ты долго был с ней знаком, Норман?

— Нет, не очень. Просто знал в лицо, и неудобно было не уступить ей место.

Ливи презрительно скривила губы. Норман усмехнулся.

— Не стоит ревновать к тому, что не случилось, малышка. И даже если бы случилось, какая разница? Ты все равно мне приглянулась, и уж я нашел бы способ с тобой познакомиться.

— Ты и не посмотрел в мою сторону.

— Просто не успел.

— Так как же ты бы со мной познакомился?

— Не знаю. Уж как-нибудь да познакомился бы. Но, согласись, довольно глупо сейчас об этом спорить.

Поезд отошел от Провиденса. Ливи была в смятении. А человечек все прислушивался к их шепоту, только улыбаться перестал, давая знать, что понял, о чем речь.

— Вы можете показать нам дальше? — спросила Ливи.

— Постой-ка, — прервал Норман. — А зачем тебе это?

— Я хочу увидеть день нашей свадьбы, — сказала Ливи. — Как бы это было, если бы в трамвае я не упала.

Норман с досадой поморщился.

— Слушай, это несправедливо. Может, мы бы тогда поженились не в тот день, а в другой.

Но Ливи сказала:

— Вы можете мне это показать, мистер Если?

Человечек кивнул.

Матовое стекло вновь ожило, слегка засветилось. Потом рассеянный свет сгустился в яркие пятна, в отчетливые человеческие фигурки. В ушах у Ливи слабо зазвучал орган, хотя на самом деле никакой музыки не было слышно.

Норман вздохнул с облегчением:

— Ну вот, видишь, я на месте. Это наша свадьба. Ты довольна?

Шум в поезде снова умолк; напоследок Ливи услышала собственный голос:

— Да, ты-то на месте. А где же я?

Ливи сидела в церкви на одной из последних скамей. Сперва она совсем не собиралась быть на этой свадьбе. В последнее время она, сама не зная почему, все больше отдалялась от Жоржетты. О ее помолвке услыхала случайно, от их общей приятельницы, и, конечно, Жоржетта выходила за Нормана. Ливи отчетливо вспомнился тот день, полгода назад, когда она впервые увидела его в трамвае. В тот раз Жоржетта поспешила убрать ее с дороги. Потом Ливи еще несколько раз встречала Нормана, но он никогда не бывал один, между ними всегда стояла Жоржетта.

Что ж, тут и обижаться нечего, ведь Жоржетта первая с ним познакомилась. Она сегодня кажется куда красивее, чем обычно. А он всегда очень хорош.

Ей было грустно и как-то пусто на душе, словно случилась какая-то ошибка, а какая — она толком понять не могла. Жоржетта прошествовала по проходу, словно не заметив ее, но немного раньше Ливи встретилась глазами с Норманом и улыбнулась ему. И, кажется, он улыбнулся в ответ.

Издалека до нее донеслись слова священника: «Нарекаю вас мужем и женою…»

Вновь послышался стук колес. Какая-то женщина с маленьким сынишкой возвращалась по проходу на свое место, покачиваясь в такт движению поезда. В середине вагона, где сидели четыре девочки-подростка, поминутно раздавались взрывы звонкого смеха. Мимо, озабоченный какими-то своими

таинственными делами, торопливо прошел кондуктор.

Все это мало трогало Ливи, она словно застыла.

Она сидела неподвижно, глядя в одну точку, а за окном, сливаясь в лохматую ярко-зеленую полосу, проносились деревья, мелькали, точно в скачке, телеграфные столбы.

Наконец она сказала:

— Так, значит, вот на ком ты женился!

Норман посмотрел на нее в упор, и уголок рта у него дрогнул. Он сказал беспечно:

— Это не совсем верно, Оливия. Все-таки моя жена — ты. Вспомни об этом, пожалуйста.

Она резко повернулась к нему:

— Да, ты женился на мне… потому что я свалилась к тебе на колени. А если бы я не упала, ты женился бы на Жоржетте. А если бы она не захотела за тебя выйти, ты бы женился на ком-нибудь еще. На ком попало. Вот тебе и твоя головоломка!

— Черт… меня… побери!.. — медленно, с расстановкой сказал Норман и ладонями пригладил волосы — они были прямые, только над ушами чуть кучерявились. Могло показаться, что это он схватился за голову от отчаяния. — Послушай, Ливи, — продолжил он, — глупо же поднимать шум из-за какого-то дурацкого фокуса. Не можешь ты осуждать меня за то, чего я не делал.

— Ты бы так и сделал.

— Почему ты знаешь?

— Ты сам видел.

— Я видел какую-то нелепость… наверно, это гипноз. — И вдруг громко, голосом, в котором прорывалось бешенство, он сказал человечку напротив: — Убирайтесь, мистер Если или как вас там! Вон отсюда! Вы тут не нужны. Убирайтесь, пока я не выкинул вас за окно вместе с вашей хитрой механикой!

Ливи дернула его за локоть.

— Перестань. Перестань сейчас же! Люди кругом!

Человечек весь съежился, спрятал черный ящичек за спину и забился в угол. Норман поглядел на него, потом на Ливи, потом на пожилую даму, которая сидела по другую сторону прохода и смотрела на него с явным неодобрением.

Он покраснел и поперхнулся еще каким-то злым словцом. В ледяном молчании доехали до Нью-Лондона, ни слова не сказали во время остановки.

Через четверть часа после того, как поезд отошел от Нью-Лондона, Норман позвал:

— Ливи!

Она не ответила. Она смотрела в окно, но ничего не видела

— только стекло.

— Ливи, — повторил Норман. — Ливи! Да отзовись же!

— Что тебе? — глухо спросила она.

— Послушай, это же нелепо. Я не знаю, как он это проделывает, но даже если в этом есть на грош правды, все равно ты несправедлива. Почему ты остановилась на полпути? Допустим, я и впрямь женился на Жоржетте, ну а ты? Разве ты осталась одна? Откуда я знаю, может, ко времени моей предполагаемой женитьбы ты уже была замужем за другим. Может, потому я и женился на Жоржетте.

— Я не была замужем.

— Откуда ты знаешь?

— Уж я бы разобралась. Я-то знаю, о чем я думала в то время.

— Ну, так вышла бы замуж не позже чем через год.

Ливи злилась все сильней. Краешком сознания она понимала, что злиться нет причины, но это не утешало. Напротив, досада росла. И она сказала:

— А если бы и вышла, это бы тебя уже не касалось.

— Да, конечно. Но это бы только доказывало, что мы не можем отвечать за то, что было бы, если бы да кабы.

Ливи гневно раздула ноздри, но промолчала.

— Послушай, — продолжал Норман. — Помнишь, мы встречали у Винни позапрошлый Новый Год? Было много народу и очень весело?

— Как не помнить! Ты мне устроил душ из коктейля.

— Это к делу не относится, да и коктейля-то было всего ничего. А я вот что хочу сказать: Винни ведь твоя лучшая подруга, вы с ней дружили давным-давно, когда мы с тобой еще не были женаты.

— Ну и что?

— И Жоржетта тоже с ней дружила, верно?

— Да.

— Ну так вот. И ты и Жоржетта все равно встречали бы у Винни Новый Год, на ком бы я ни женился. Я тут ни при чем. Пускай он нам покажет, что было бы на этом вечере, если бы я женился на Жоржетте, и пари держу, ты там будешь либо с женихом, либо с мужем.

Ливи заколебалась. Честно говоря, именно это ее и пугало.

— Что, боишься рискнуть? — сказал Норман.

И, конечно, Ливи не стерпела. Она так и вскинулась:

— Ничего я не боюсь! Уж наверно я вышла замуж! Не сохнуть же по тебе! И любопытно посмотреть, как ты обольешь коктейлем Жоржетту. Она тебе при всех надает оплеух, не постесняется. Я ее знаю. Вот тогда ты увидишь, какой кусок в твоей головоломке

подходящий.

И Ливи сердито скрестила руки на груди и устремила вперед взор, исполненный решимости.

Норман поглядел на человечка напротив, но просить ни о чем не пришлось. Тот уже установил на коленях матовое стекло. В окно косо светило закатное солнце, и венчик седых волос вокруг лысины человечка отливал розовым.

— Ты готова? — напряженным голосом спросил Норман.

Ливи кивнула, и они снова перестали слышать рокот колес.

Раскрасневшаяся с мороза, Ливи остановилась в дверях. Она только что сняла пальто, на котором таяли снежинки, и обнаженным рукам было еще зябко.

Ее встретили криками: «С Новым Годом!» — и она ответила тем же, стараясь перекричать радио, которое орало во всю мочь. Еще с порога она услыхала пронзительный голос Жоржетты и теперь направилась к ней. Она больше месяца не видела ни Жоржетту, ни Нормана.

Жоржетта жеманно подняла одну бровь — это она в самое последнее время завела такую манеру — и спросила:

— Ты разве одна, Оливия?

Окинула взглядом тех, кто стоял поближе, и вновь посмотрела на Ливи. Та сказала равнодушно:

— Я думаю, Дик заглянет попозже. У него там еще какие-то дела.

Она не притворялась, ей и правда было все равно.

— Ну, зато Норман здесь, — сказала Жоржетта, натянуто улыбаясь. — Так что ты не будешь скучать, дорогая. По крайней мере раньше ты в таких случаях не скучала.

И тут из кухни лениво вышел Норман. В руке он держал шейкер, кубики льда в коктейле постукивали, точно кастаньеты, в такт словам:

— Эй вы, гуляки-выпивохи! Подойдите, хлебните — от моего зелья еще не так разгуляетесь… Ба, Ливи!

Он направился к ней, широко и радостно улыбаясь.

— Где вы пропадали? Я вас сто лет не видал. В чем дело? Дик решил вас прятать от посторонних глаз?

— Налей мне, Норман, — резко сказала Жоржетта.

— Сию минуту, — не взглянув на нее, отозвался Норман. — А вам налить, Ливи? Сейчас найду бокал.

Он обернулся, и тут-то все и произошло.

— Осторожно! — вскрикнула Ливи.

Она видела, что сейчас будет, у нее даже возникло какое-то смутное чувство, словно так уже когда-то было, и все-таки это случилось, неизбежно и неотвратимо. Норман зацепился

каблуком за ковер, пошатнулся, тщетно пытаясь сохранить равновесие, и выронил шейкер. Тот словно выпрыгнул у него из рук — и добрая пинта ледяного коктейля обдала Ливи, промочив ее до нитки.

Она задохнулась. Вокруг стало тихо, и несколько невыносимых мгновений она тщетно пыталась отряхнуться, а Норман опять и опять все громче повторял:

— Черт подери! Ах, черт подери!

Жоржетта сказала холодно:

— Очень жаль, что так вышло, Ливи. С кем не случается. Но это платье как будто не очень дорогое.

Ливи повернулась и побежала из комнаты. И вот она в спальне, тут по крайней мере никого нет и почти не слышно шума. При свете лампы на туалетном столике, затененной абажуром с бахромой, она в куче пальто, брошенных на кровать, стала отыскивать свое.

За нею вошел Норман.

— Послушайте, Ливи, не обращайте внимание на то, что она сболтнула. Я просто в отчаянии. Конечно же, я заплач'у…

— Пустяки. Вы не виноваты. — Она быстро замигала, не глядя на него. — Поеду домой и переоденусь.

— Но вы вернетесь?

— Не знаю. Едва ли.

— Послушайте, Ливи…

Ей на плечи легли его горячие ладони…

Что-то странно оборвалось у нее внутри, словно она вырвалась из цепкой паутины, и…

…и снова послышался шум и рокот колес.

Все-таки, пока она была там… в матовом стекле… что-то пошло не так, как надо. Уже смеркалось. В вагоне зажглись лампочки. Но это неважно. И, кажется, мучительное, щемящее чувство внутри понемногу отпускает.

Норман потер пальцами глаза.

— Что случилось? — спросил он.

— Просто все кончилось, — сказала Ливи. — Как-то вдруг.

— Знаешь, мы уже подъезжаем к Нью-Хейвену, — растерянно сказал Норман. Он посмотрел на часы и покачал головой.

Ливи сказала с недоумением:

— Ты вылил коктейль на меня.

— Что ж, так было и на самом деле.

— Но на самом деле я твоя жена. На этот раз ты должен был облить Жоржетту. Как странно, правда?

Но она все думала о том, как Норман пошел за нею и как его ладони легли ей на плечи…

Она подняла на него глаза и сказала с жаркой гордостью:

— Я не вышла замуж!

— Верно, не вышла. Но вот, значит, с кем ты повсюду разгуливала — с Диком Рейнхардтом?

— Да.

— Может, ты за него и замуж собиралась?

— А ты ревнуешь?

Норман как будто смутился.

— К чему ревную? К куску стекла? Нет, конечно!

— Не думаю, чтобы я вышла за Дика.

— Знаешь, — сказал Норман, — жалко, что это так вдруг оборвалось. Мне кажется, что-то должно было случиться… — Он запнулся, потом медленно договорил: — У меня было такое чувство, будто я предпочел бы выплеснуть коктейль на кого угодно, но только не на тебя.

— Даже на Жоржетту?

— Я о ней и не думал. Ты мне, разумеется, не веришь.

— А может быть, и верю. — Ливи подняла на него глаза. — Я была глупая, Норман. Давай… давай жить нашей настоящей жизнью. Не надо играть тем, что могло бы случиться, да не случилось.

Но он порывисто взял ее руки в свои.

— Нет, Ливи. Еще только один раз, последний. Посмотрим, что бы мы делали вот сейчас, Ливи. В эту самую минуту! Что было бы с нами сейчас, если бы я женился на Жоржетте.

Ливи стало страшно.

— Не надо, Норман!

Ей вспомнилось, какими смеющимися глазами и жадным взглядом смотрел он на нее, держа в руке шейкер, а Жоржетту, которая стояла тут же, словно и не замечал. Нет, не хочет она знать, что было дальше. Пусть будет все как сейчас, в их настоящей, такой хорошей жизни.

Проехали Нью-Хейвен. Норман снова сказал:

— Я хочу попробовать, Ливи.

— Ну, если тебе так хочется…

А про себя она с ожесточением думала: это неважно! Это ничего не изменит, ничто не может измениться! Обеими руками она стиснула его руку выше локтя. Она крепко сжимала его руку и думала: что бы нам тут ни померещилось, никакие фокусы не отнимут его у меня!

— Заведите опять свою машинку, — сказал Норман человечку напротив.

В желтом свете ламп все шло как-то медленнее. Понемногу прояснилось матовое стекло, будто рассеялись облака, гонимые

неощутимым ветром.

— Что-то не так, — сказал Норман. — Тут только мы двое, в точности, как сейчас.

Он был прав. В вагоне поезда, на передней скамье, сидели две крошечные фигурки. Изображение ширилось, росло… они слились с ним. Голос Нормана затихал где-то вдалеке.

— Это тот самый поезд, — говорил он. — И в окне сзади такая же трещина…

У Ливи голова шла кругом от счастья.

— Скорей бы Нью-Йорк! — сказала она.

— Осталось меньше часа, любимая, — отвечал Норман. — И я буду тебя целовать. — Он порывисто наклонился к ней, словно не собирался ждать ни минуты.

— Не здесь же! Ну что ты, Норман, люди смотрят!

Он отодвинулся.

— Надо было взять такси, — сказал он.

— Из Бостона в Нью-Йорк?

— Конечно. Зато мы были бы только вдвоем.

Ливи засмеялась:

— Ты ужасно забавный, когда разыгрываешь пылкого любовника.

— А я не разыгрываю. — Голос его вдруг стал серьезнее, глуше. — Понимаешь, дело не только в том, что ждать еще целый час. У меня такое чувство, будто я жду уже пять лет.

— И у меня.

— Почему мы с тобой не встретились раньше? Сколько времени прошло понапрасну.

— Бедная Жоржетта, — вздохнула Ливи.

Норман нетерпеливо отмахнулся.

— Не жалей ее, Ливи. Мы с ней сразу поняли, что ошиблись. Она была только рада от меня избавиться.

— Знаю. Потому и говорю — бедная Жоржетта. Мне ее жалко: она тебя не оценила.

— Ну смотри, сама меня цени! — сказал Норман. — Цени меня высоко-высоко, безмерно, бесконечно высоко, больше того: цени меня по крайней мере вполовину так, как я ценю тебя!

— А не то ты и со мной тоже разведешься?

— Ну, уж это — только через мой труп! — заявил Норман.

— Как странно, — сказала Ливи. — Я все думаю, что, если бы тогда под Новый Год ты не вылил на меня коктейль? Ты бы не пошел за мной, и ничего бы мне не сказал, и я бы ничего не знала. И все сложилось бы по-другому… совсем-совсем иначе…

— Чепуха. Было бы все то же самое. Не в этот раз, так в другой.

— Кто знает… — тихо сказала Ливи.

Стук колес того поезда перешел в нынешний стук колес. За окном замелькали огни, стало шумно, пестро — это был Нью-Йорк. В вагоне поднялась суета, пассажиры разбирали свои чемоданы.

В этой суматохе лишь одна Ливи словно застыла. Наконец Норман тронул ее за плечо. Она подняла глаза.

— Все-таки головоломка складывается только так.

— Да, — сказал Норман.

Она коснулась его руки.

— И все равно вышло нехорошо. Напрасно я это затеяла. Я думала, раз мы принадлежим друг другу, значит и все другие — те, какими стали бы мы, если б жизнь сложилась по-иному, — тоже принадлежали бы друг другу. А на самом деле неважно, что могло бы быть. Довольно того, что есть. Понимаешь?

Норман кивнул.

— Есть еще тысячи разных «если бы», — сказала Ливи. — И не хочу я знать, что бы тогда было. Никогда больше даже слов таких не скажу — что если…

— Успокойся, родная, — сказал Норман. — Вот твое пальто.

И потянулся за чемоданами.

Ливи вдруг спросила резко:

— А где же мистер Если?

Норман медленно обернулся, напротив никого не было. Оба пытливо оглядели салон.

— Может быть, он перешел в другой вагон? — сказал Норман.

— Но почему? И потом, он бы тогда не оставил шляпу. — Ливи наклонилась и хотела взять ее со скамьи.

— Какую шляпу? — спросил Норман.

Ливи замерла, рука ее повисла над пустотой.

— Она была тут… я чуть-чуть до нее не дотронулась! — Ливи выпрямилась. — Норман, а что если…

Норман прижал палец к ее губам.

— Родная моя…

— Прости, — сказала она. — Дай-ка я помогу тебе с чемоданами.

Поезд нырнул в туннель под Парк-авеню, и перестук колес обратился в гром.

Айзек Азимов
Мой сын — физик

Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета — уж такого скромного, такого старомодного! Сразу видно было, что с краской она обращается осторожно: так красились лет тридцать назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир.

Да и весь облик этой уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд — все дышало безмятежным спокойствием.

И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой.

Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу:

— Как вы сюда попали?

Та улыбнулась.

— Я иду к сыну, он физик.

— К сыну?..

— Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона.

— Доктор Кремона? Но он сейчас… а у вас есть пропуск?

— Вот, пожалуйста. Я его мать.

— Право, не знаю, миссис Кремона. У меня ни минуты… Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет.

И она умчалась.

Миссис Кремона медленно покачала головой. Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось.

Далеко впереди послышались голоса, и она просияла: голос сына!

Она вошла в кабинет и сказала:

— Здравствуй, Джерард.

Джерард — рослый, крупный, в густых волосах чуть проглядывает седина: он их не красит. Говорит — некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться, она всегда им любовалась.

Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный, но уж наверно Джерард сумеет поставить на своем.

Джерард поднял голову.

— Что вам угодно?.. Мама, ты?! Что ты здесь делаешь?

— Пришла тебя навестить.

— Разве сегодня четверг? Ох, я совсем забыл! Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь. Где хочешь… Послушайте, генерал…

Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину.

— Это ваша матушка?

— Да.

— Надо ли ей здесь присутствовать?

— Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет. Так вот, генерал. Они на Плутоне. Понимаете? Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения, значит, их подают люди, люди с Земли. Вы должны с этим согласиться. Очевидно, одна из экспедиций, которые мы отправили за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона.

— Ну да, ваши доводы мне понятны, но разве это возможно? Люди отправлены в полет четыре года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю? Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до Плутона — это в восемь раз дальше.

— Вот именно. И мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть… может быть, они получили помощь.

— Какую? Откуда?

На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения.

— Генерал, — сказал он, — конечно, это ересь, а все же — вдруг тут замешаны не земляне? Жители другой планеты? Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь.

По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.

— Вы думаете, они сбежали из-под стражи и их того и гляди снова схватят?

— Возможно. Возможно. Нам надо точно узнать, что происходит — может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать не откладывая.

— Ладно. Чего же вы хотите?

— Нам немедленно нужен Мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу. Освободите инженеров связи, всех до единого, от другой работы и отдайте в наше распоряжение.

— Причем тут это? Не понимаю!

Неожиданно раздался кроткий голос:

— Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины.

— Мама! Прошу тебя, подожди! — взмолился Кремона. — Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше четырех миллиардов миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за шесть часов. Допустим, мы что-то сказали, — ответа надо ждать двенадцать часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили, и они повторяют ответ — вот и ухнули сутки!

— А нельзя это как-нибудь ускорить? — спросил генерал.

— Конечно нет. Это основной закон связи. Скорость света — предел, никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы.

— Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?

— Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем — стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать возможно больше бит информации в секунду и молить господа бога, чтобы удалось втиснуть все, что надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на десять процентов, мы, пожалуй, выиграем целую неделю.

И опять их прервал кроткий голос:

— Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу?

— Мама! Прошу тебя!

— Но ты берешься за дело не с того конца. Уверяю тебя.

— Мама! — в голосе Кремоны послышалось отчаяние.

— Ну-ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом двенадцать часов ждать ответа, это очень глупо. И совсем не нужно.

Генерал нетерпеливо фыркнул.

— Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к…

— Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?

— Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше, — очень серьезно посоветовала миссис Кремона. — И им тоже велите так делать. Говорите не переставая, и они пускай говорят не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но скорей всего вы, и не

спрашивая, услышите все, что надо.

Мужчины ошеломленно смотрели на нее.

— Ну, конечно! — прошептал Кремона. — Непрерывный разговор. Сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего… Сейчас же и начнем!

Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.

— Мама, — сказал он, — ты извини, это, наверно, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь.

— Обо мне не беспокойся, Джерард, — сказала миссис Кремона.

— Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?

— Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают — все равно, по видеофону, по стратoрадио или просто с глазу на глаз, — они прекрасно понимают: чтобы передать любую новость, надо просто говорить не переставая. В этом весь секрет.

Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа у него задрожала, он круто повернулся и вышел.

Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.

Пол Андерсон
Сестра Земли

Вот — конец тебе; и пошлю на тебя гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои.

И не пощадит тебя око Мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я — Господь.

Иезекииль, VII, 3-i

…Много времени спустя в бухте Сан-Франциско всплыл утопленник в поношенном костюме. Полиция пришла к выводу, что он в какой-нибудь туманный день прыгнул в воду с моста Золотых ворот. Тут слишком чисто и пустынно, не совсем обычное место выбрал неведомый пьяница, чтобы свести счеты с жизнью, но над этим никто не задумался. За пазухой у мертвеца оказалась Библия, а в ней закладка, и на заложенной странице отчеркнуто несколько строк. От нечего делать один из полицейских стал разглядывать размокшие листы и наконец разобрался: отчеркнуты были третий и четвертый стихи седьмой главы книги пророка Иезекииля.

Шквал налетел, когда Малыш Мак-Клелан уже совсем было пошел на посадку. Он рванул ручку на себя: взревели двигатели, рейсовый бот стал на хвост и подскочил вверх. Миг — и его завертело, закружило, как сухой лист. В иллюминаторах почернело. Перекрывая вой ветра, забарабанил ливень. Сверкнула молния, прокатился гром, и Нат Хоуторн, ослепленный, оглушенный, перестал что-либо воспринимать.

«С приездом!» — подумал он. А может быть, он сказал это вслух? Опять загромыхало, словно исполинские колеса раскатились по мостовой — или это просто хохот? Бот перестало швырять. Перед глазами уже не плавали огненные пятна, и Хоуторн различил облака и спокойную водную гладь. Все окутано синеватой дымкой, значит, время близится к закату. «К тому, что на Венере называется закатом», — напомнил он себе. Еще долгие часы будет светло, ночь никогда не станет по-настоящему темной.

— Еще бы чуть — и крышка, — сказал Малыш Мак-Клелан.

— А я думал, эта посудина приспособлена для бурь, — сказал

Хоуторн.

— Верно. Но это же все-таки не субмарина. Мы были слишком низко, и уж больно неожиданно это налетело. Чуть не нырнули, а тогда бы… — он пожал плечами.

— Тоже не страшно, — возразил Хоуторн. — Выбрались бы в масках через люк и наверняка продержались бы на воде, а со Станции нас бы заметили и подобрали. А может, Оскар еще раньше нас выручил бы. Здешняя живность нам ничем не грозит. Мы для них так же ядовиты, как они для нас.

— Называется «не страшно», — передразнил Мак-Клелан. — Конечно, ты за бот не в ответе, а только ему цена пять миллионов монет.

Фальшиво насвистывая, он описал круг и снова пошел на посадку. Он был маленький, коренастый, веснушчатый и рыжий, двигался быстро, порывисто. Много лет Хоуторн только и знал, что Малыш — один из пилотов, постоянно перевозящий грузы с кораблей на орбите к Станции «Венера» и обратно: бойкий малый, вечно сыплет к месту и не к месту непристойными стишками да болтает невесть что о своих похождениях по части «женской нации», как он выражается. А тут они летели вместе с Земли, и под конец Мак-Клелан смущенно показал всем спутникам стереоснимки своих детишек и признался, что мечтает, когда выйдет на пенсию, открыть небольшой пансион на берегу Медвежьего озера.

«Слава тебе, господи, которого нет, что я биолог, — подумал Хоуторн. — В моей профессии пока еще не становишься перед этим веселеньким выбором: в тридцать пять лет выйти в отставку либо засесть где-нибудь в канцелярии. Надеюсь, что я и в восемьдесят буду прослеживать экологические связи и любоваться северным сиянием над Фосфорным морем!»

Бот накренился, и внизу стала видна Венера. Казалось просто невероятным, что сплошной, без единого клочка суши океан, покрывающий всю планету, может быть так живописен. Но тут свои климатические зоны, и у каждой — миллионы изменчивых цветов и оттенков; это зависит от освещения, от того, какие где существуют живые твари, а они всюду разные, так что море на Венере не просто полоса воды, но лучезарный пояс планеты. Да еще каждый час под другим углом падают солнечные лучи, и совсем по-иному все светится ночью, и опять же ветерки, ветры и вихри, смена времен года, валы прилива, что катятся по двадцать тысяч миль, не встречая на пути ни единой преграды, и еще какой-то ритм органической жизни, людям пока не понятный. Нет, тут можно просидеть сто лет на одном месте — и все время перед глазами будет что-то новое. И во всем будет красота.

Фосфорное море опоясывает планету между 55-м и 63-м градусом северной широты. Сейчас, вечером, с высоты оно было густо-синим, в косых белых штрихах, но на севере, на самом горизонте, оно становилось черным, а на юге переходило в необыкновенно чистую, прозрачную зелень. Там и сям под поверхностью извивались алые прожилки. Мелькал плавучий остров — джунгли, разросшиеся на исполинских пузырчатых водорослях, вздымались огненно-рыжими языками, окутанные своим отдельным облачком тумана. На восток уходил шквал — иссиня-черная туча, пронизанная молниями, и оставлял за собою полосу клокочущей вспененной воды. На западе нижний слой облаков нежно розовел и отсвечивал медью. Верхний, постоянный слой переливался на востоке жемчужно-серым и постепенно светлел, а на западе еще горел слепящей белизной — там пылало за горизонтом только что закатившееся солнце. Небосклон пересекала двойная радуга.

Хоуторн глубоко вздохнул. Как славно вернуться!

Маленькая ракета планировала, выпустив крылья, под ними засвистел ветер. Потом она коснулась поплавками воды, подскочила, снова опустилась и подрулила к Станции. Поднятая ею волна разбилась среди кессонов, плеснула к верхней палубе и строениям, но они даже не дрогнули, удерживаемые в равновесии гироскопами. По обыкновению весь экипаж Станции высыпал навстречу прибывшему боту. Корабли с Земли прилетали всего раз в месяц.

— Конечная остановка! — объявил Мак-Клелан, отстегнул ремни, поднялся и стал надевать кислородное снаряжение. — А знаешь, мне всегда как-то не по себе в этой сбруе.

— Почему? — Хоуторн, прилаживая за плечами баллон, удивленно поглядел на пилота.

Мак-Клелан натянул маску. Она закрывала нос и рот, пластиковая прокладка не давала воздуху планеты никакого доступа внутрь. Оба уже надвинули на глаза контактные линзы, не пропускающие ультрафиолетовые лучи.

— Никак не забуду, что тут на двадцать пять миллионов миль нет ни глотка кислорода, кроме нашего, — признался Мак-Клелан. Маска приглушала его голос, и от этого он прозвучал для Хоуторна привычно, по-домашнему. — В скафандре мне как-то спокойнее.

— De guistibus non disputandum est,[1] - сказал Хоуторн. — Что в переводе означает: всякий гусь что хочет, то и ест. А по мне, все скафандры воняют чужой отрыжкой.

В иллюминатор он увидел: в воде изогнулась длинная синяя спина, нетерпеливо плеснула пена. Губы его тронула улыбка.

— Бьюсь об заклад, Оскар знает, что я прилетел, — сказал он.

— Ага. Закадычный друг, — пробурчал Мак-Клелан.

Они вышли из люка. В ушах щелкнуло: организм приспосабливался к небольшой перемене давления. Удобства ради маска задерживала часть водяных паров, а главное, не пропускала двуокись углерода, которой здесь было довольно, чтобы убить человека в три вдоха. Азот, аргон и небольшое количество безвредных газов проходили в заплечный баллон, смешивались с кислородом, и этой смесью можно было дышать. Существовали и аппараты, которые путем электролиза добывали необходимый землянам кислород прямо из воды, но они пока были слишком громоздки и неудобны.

На Венере всегда надо иметь этот аппарат под рукой в лодке ли, на пристани ли, чтобы каждые несколько часов перезаряжать заплечный баллон. Новичков с Земли эта вечная забота до черта раздражает, но, побыв подольше на Станции «Венера», привыкаешь и становишься спокойнее.

«И разумнее?» — не раз спрашивал себя Хоуторн. Последний полет на Землю, кажется, окончательно убедил его в этом.

Жара оглушала, точно удар кулака. Хоуторн уже переоделся по-здешнему: свободная, простого покроя одежда из синтетической ткани защищала кожу от ультрафиолетовых лучей и притом не впитывала влагу. На минуту он приостановился, напомнил себе, что человек — млекопитающее, вполне способное переносить жару и посильнее, и его отпустило. Он стоял на поплавке, вода плескалась о его босые ноги. Ногам было прохладно. Он вдруг перестал злиться на жару, попросту забыл о ней.

Из воды высунулся Оскар. Да, конечно, это был Оскар. Других дельфоидов — их тут было с десяток — больше занимал бот, они тыкались в него носами, терлись гладкими боками о металл, поднимали детенышей ластами, чтобы тем было лучше видно.

Оскар был занят одним только Хоуторном. Он вскинул грузную тупорылую голову, обнюхал ноги биолога и тотчас выбил ластами на воде веселую дробь за двадцать футов до понтона.

Хоуторн присел на корточки.

— Здорово, Оскар! А ты уже думал, я больше не вернусь?

И почесал зверя под подбородком. Да, черт возьми, у дельфоидов есть самый настоящий подбородок. Оскар перевернулся вверх брюхом и фыркнул.

— Ты, верно, решил, что я там, на Земле, подцепил какую-нибудь дамочку, а про тебя и думать забыл? — бормотал Хоуторн. — Ошибаешься, кот-котище, безобразный зверище, я об этом и не мечтал. Дудки! Стану я тратить драгоценное земное

время — мечтать, как бы променять тебя на женщину! Я не мечтал, я дело делал. Поди-ка сюда, скотинка.

Он почесал упругую, как резина, кожу возле дыхала. Извиваясь всем телом, Оскар с силой ткнулся в поплавок.

— Эй, хватит там! — вмешался Мак-Клелан. — Мне сейчас не до купания.

Он кинул перлинь. Вим Дикстра поймал конец, обмотал вокруг кнехта и стал подтягивать. Бот медленно двинулся к пристани.

— Ну-ну, Оскар, ладно, ладно, — сказал Хоуторн. — Вот я и дома. Не будем по этому случаю распускать слюни.

Он был рослый, сухощавый, волосы темно-русые, лицо изрезано ранними морщинами.

— Я и подарок тебе привез, как всем нашим, только дай сперва распаковать вещи, я тебе привез целлулоидную утку. Ну, пусти же!

Дельфоид нырнул. Хоуторн уже хотел подняться по трапу, как вдруг Оскар вернулся. Тихонько, осторожно ткнулся человеку в щиколотки, потом неуклюже — у обычной, не приспособленной к торговле пристани ему было трудно это проделать — вытолкнул что-то изо рта прямо к ногам Хоуторна. Потом снова нырнул, а Хоуторн изумленно вполголоса выругался, и глаза у него защипало.

Он получил сейчас в подарок такой великолепный самоцвет-огневик, каких, пожалуй, еще и не видывали на Станции «Венера».

Когда стемнело, стало видно северное сияние. До солнца было близко, а магнитное поле Венеры так слабо, что даже над экватором в небе порой перекрещиваются гигантские световые полотнища. Здесь, на Фосфорном море, ночь бархатно-синяя, в ней колышутся розовые завесы и вздрагивают узкие снежно-белые вымпелы. И вода тоже светится от каких-то фосфоресцирующих микроорганизмов, гребень каждой волны оторочен холодным пламенем. Каждая капля, брызнув на палубу Станции, долго рдеет, прежде чем испариться, словно кто-то раскидал по всему тускло отсвечивающему кольцу золотые угольки.

Хоуторн смотрел на все это сквозь прозрачную стену кают-компании.

— А славно вернуться, — сказал он.

— Видали чудака? — отозвался Малыш Мак-Клелан. — На Земле выпивка, женщины наперебой ухаживают за гордым исследователем космоса, а ему приятно от такой роскоши вернуться сюда. Этот малый просто спятил.

Вим Дикстра, геофизик, серьезно кивнул. Это был высокий

смуглый голландец — чувствовалось, что в его жилах течет и кастильская кровь. Быть может, из-за нее-то среди его соплеменников так много вечных бродяг и скитальцев.

— Кажется, я тебя понимаю, Нат, — сказал он. — Я получил письма и кое-что прочел между строк. Значит, на Земле совсем худо?

— В некоторых отношениях… — прислонясь к стене, Хоуторн всматривался в ночь.

Вокруг Станции резвились дельфоиды. Живые торпеды весело выскакивали из воды, все обдавая струями света, описывали в воздухе дугу и ныряли в огненные фонтаны. Потом вспенили воду и, кувыркаясь, подскакивая, пошли вокруг хороводом в милю шириной. Но и на этом расстоянии, точно пушечные выстрелы, доносились гулкие хлопки о воду огромных тел и ластов.

— Я этого боялся. Даже не знаю, поеду ли в отпуск, когда настанет мой черед, — сказал Дикстра.

Мак-Клелан смотрел на них во все глаза.

— О чем это вы, ребята? — растерянно спросил он. — Что такое стряслось?

Хоуторн вздохнул.

— Не знаю, с чего и начать, — сказал он. — Понимаешь, Малыш, беда в том, что ты видишь Землю постоянно. Возвращаешься из рейса и живешь там неделями, а то и месяцами, только потом опять летишь. А мы… мы не бываем там по три, по пять лет кряду. Нам перемены заметнее.

— Ну, понятно, — Мак-Клелан неловко поерзал в кресле. — Понятно, вам это не в привычку… ну, то есть шайки и патрули и что, покуда вас не было, в Америке ввели норму на жилье. А все-таки, ребята, жалованье у вас отличное и работа почетная. Вам всегда и честь и место. Чего уж вам-то жаловаться?

— Скажем так: воздух не тот, — ответил Хоуторн. Он через силу улыбнулся. — Будь на свете бог (а его, слава богу, нет), я был сказал, что он забыл Землю.

Дикстра густо покраснел.

— Бог ничего не забывает! Забывают люди.

— Прости, Вим, — сказал Хоуторн. — Но я видел… не только Землю. Земля слишком велика, это просто цифры, статистика. А я побывал на родине, в тех местах, где я вырос. В озере, где я мальчишкой удил рыбу, теперь разводят съедобные водоросли, а моя мать ютится в одной комнатенке с полоумной старой каргой, от которой ее просто тошнит. Мало того. Скворцовую рощу вырубили, а на ее месте построили, с позволения сказать, многоквартирные дома — самые настоящие трущобы, и шайки бесчинствуют уже средь бела дня. Больше всего народу занято не

в промышленности, а в вооруженных патрулях. Зайдешь в бар — ни одного веселого лица. Уставятся, как бараны, на экран телевизора и… — он оборвал себя на полуслове. — Да вы не слушайте. Я, наверное, преувеличиваю.

— Да уж, — сказал Мак-Клелан. — На природу тебе захотелось? Могу тебя доставить в такую глушь, туда со времен индейцев ни одна живая душа не заглядывала. А в Сан-Франциско ты когда-нибудь бывал? Так вот, могу сводить тебя в один кабачок на Норс Бич, тогда узнаешь, что значит повеселиться всласть.

— Ну, ясно, — сказал Хоуторн. — Вопрос только: долго ли еще протянут эти остатки былого величия?

— Есть такие, что им вовек конца не будет, — возразил Мак-Клелан. — Их хозяева — корпорации. А по нынешним временам собственность корпораций — это все равно что какие-нибудь графские угодья.

Вим Дикстра кивнул.

— Богачи богатеют, — сказал он, — бедняки беднеют, а средние слои исчезают. И под конец образуется самая допотопная империя. Я когда-то учил историю.

Темные глаза его задумчиво смотрели на Хоуторна.

— Средневековый феодализм и монашество развились в рамках римского владычества, и, когда империя развалилась, они остались. Может быть и сейчас возможно такое параллельное развитие. Самые крупные и мощные организации на Земле — феодальные, а на таких вот межпланетных станциях, как наша, — монастыри.

— Самые настоящие, с обетом безбрачия, — поморщился Мак-Клелан. — Благодарю покорно, я предпочитаю феодализм!

Хоуторн снова вздохнул. За все приходится платить. Пилюли, усыпляющие секс, и воспоминания о пылких поцелуях и страстных объятиях, что были на Земле, подчас мало утешают.

— Не очень удачное сравнение, Вим, — возразил он. — Начать с того, что мы держимся только торговлей драгоценными камнями. Она выгодна, поэтому нам разрешают заниматься и научной работой, кого какая интересует; в сущности, это тоже плата за наш труд. Но если дельфоиды перестанут приносить нам самоцветы, мы и оглянуться не успеем, как нас вернут на Землю. Ты и сам знаешь, никто не станет давать бешеные деньги на межпланетные перелеты и перевозки ради науки, дают только ради предметов роскоши.

— Ну и что из этого? — пожал плечами Дикстра. — Экономика к нашему монашескому житью никакого отношения не имеет. Может, ты никогда не пил бенедиктин?

— Что?.. А-а, понимаю. Но холостяки мы только по необходимости. И лелеем надежду, что когда-нибудь и у нас будут жены.

Дикстра улыбнулся.

— Я не говорю, что тут полное сходство. Но все мы сознаем, что служим большей цели, делу культуры. Наше призвание — не религия, а наука, но все равно это — вера, во имя которой стоит идти и на отшельничество, и на иные жертвы. Если в глубине души мы считаем, что отшельничество — это жертва.

Хоуторн поморщился: Дикстра подчас чересчур увлекается анализом. Что и говорить, мы, работники Станции, — настоящие монахи. Тот же Вим… но он однодум, натура страстная, целеустремленная, и это его счастье. Самому Хоуторну не так повезло, пятнадцать лет он пытался избавиться от пуританских взглядов и предрассудков, с детства въевшихся в плоть и кровь, и наконец понял, что это безнадежно. Он убил жестокого бога, в которого верил его отец, но призрак убитого будет вечно его преследовать.

Теперь он решился вознаградить себя за долгое самоотречение и отпуск на Земле превратил в непрерывную оргию, но все равно под видом горечи и ожесточения его терзает чувство, что он тяжко согрешил. На Земле я впал в беззаконие. Ergo,[2] Земля — вертеп.

А Дикстра продолжал, и в голосе его вдруг зазвучало странное волнение:

— И еще в одном смысле наша жизнь напоминает средневековое монашество. Монахи думали, что бегут от мира. А на самом деле они служили рождению нового мира, новой ступеньки развития общества. Может быть, и мы, еще сами того не сознавая, изменяем историю.

— Гм… — покачал головой Мак-Клелан. — Какая же история, когда у вас не будет потомства? Женщин-то на Венере нету!

— Сейчас об этом идет разговор в Правлении, — стараясь уйти от собственных мыслей, поспешно вставил Хоуторн. — Компания рада бы это устроить, тогда люди будут охотней работать на Венере. Думаю, что, пожалуй, это можно уладить. Если торговля будет развиваться, нашу Станцию придется расширить, и с таким же успехом можно присылать новых ученых и техников — женщин.

— Ну и начнутся скандалы, — сказал Мак-Клелан.

— Не начнутся, лишь бы прислали сколько надо, — возразил Хоуторн. — А что до романтической любви и отцовства, так ведь кто подрядился здесь работать, те давным-давно не мечтают о такой роскоши.

— А она вполне доступна, — пробормотал Дикстра. — Я говорю об отцовстве.

— Какие же дети на Венере? — изумился Хоуторн.

По лицу Дикстры промелькнула ликующая, победоносная улыбка. Они столько лет прожили бок о бок, что научились слышать друг друга без слов, и Хоуторн понял: у Дикстры есть какой-то секрет, о котором он рад бы закричать на весь мир, но пока еще не может. Видно, сделал какое-то поразительное открытие.

Хоуторн решил закинуть удочку.

— Я все пересказываю слухи да сплетни и даже не спросил, что у вас тут делается. Что новенького вы узнали об этой почтенной планете, пока меня не было?

— Появились кое-какие надежды, — уклончиво сказал Дикстра все еще немного нетвердым голосом.

— Открыли способ фабриковать огневики?

— Избави бог! Если б их удавалось делать самим, мы бы сразу погорели, верно? Нет, не то… Если хочешь, поговори с Крисом. Насколько я знаю, он установил только, что они — биологический продукт, что-то вроде жемчуга. Видимо, тут участвуют несколько видов бактерий, которые могут существовать только в условиях венерианского океана.

— Узнали что-нибудь новое про то, как они тут могут жить? — спросил Мак-Клелан.

Как все космонавты, он жадно, до одержимости интересовался всякими живыми существами, способными обходиться без кислорода.

— Да, Крис, Мамору и их сотрудники довольно точно исследовали обмен веществ в здешних организмах, — сказал Дикстра. — Я в этом ничего не смыслю, Нат. Но ты, конечно, захочешь разобраться, а им позарез нужна твоя помощь, ты же эколог. Знаешь, обычная история: растения (если их тут можно назвать растениями) используют солнечную энергию и создают ненасыщенные смеси, а твари, которых мы называем животными, их окисляют. Окисление может идти и без кислорода. Малыш.

— Уж настолько-то я в химии разбираюсь, — обиделся Мак-Клелан.

— Ну вот, вообще-то связанные с этим процессом реакции не настолько сильны, чтобы породить животных такой величины, как Оскар. Не удалось отождествить ни одного фермента, который был бы способен… — Дикстра нахмурился, промолчал. — Как бы там ни было, Мамору ищет ключ в брожении, это самый близкий земной аналог. И похоже, что тут и впрямь участвуют микроорганизмы. Здесь, на Венере, ферменты не отличить от… от

вирусов, что ли? Более подходящего названия пока не подобрали. А некоторые формы, видимо, даже исполняют функции генов. Каков симбиоз, а? Классическим образцам до этого далеко!

Хоуторн присвистнул.

— Очень увлекательная новая теория, скажу я вам, — заметил Мак-Клелан. — При всем при том я бы хотел, чтоб вы поскорей погрузили все, что надо, нам пора домой. Все вы славные ребята, но мне с вами малость неуютно.

— На погрузку уйдет несколько дней, — сказал Дикстра. — Это ведь известно.

— Ладно, пускай несколько, лишь бы земных, а не венерианских.

— Возможно, я передам с тобой очень важное письмо, — сказал Дикстра. — У меня еще нет решающих данных, но ради одного этого тебе придется подождать.

Внезапно его даже в дрожь бросило от волнения.

Долгими ночами они изучали материал, собранный за день. Когда Хоуторн вышел навстречу рассвету, в туман, клубящийся над подернутыми багрянцем водами, под перламутровым небом, все обитатели Станции устремились в разные стороны, будто раскиданные взрывом. Вим Дикстра со своим новым помощником, маленьким улыбчивым Джимми Чентуном, уже умчался на двухместной субмарине куда-то за горизонт подбирать придонные зонды-автоматы. А сейчас от причала отходили во всех направлениях лодки: Дил и Мацумото отправлялись за псевдопланктоном, Васильев — на гряду Эребуса, которая славилась необычайно красивым кораллитом, Лафарж продолжал составлять карты течений, Гласс в космоскафе взвился в небо: еще слишком мало исследованы венерианские облака…

За ночь в рейсовый бот перенесли первую партию груза, и теперь Малыш Мак-Клелан с Хоуторном и капитаном Джевонсом прошли по опустевшей пристани.

— Ждите меня обратно к вашему закату, — сказал Малыш. — Какой мне толк прилетать раньше, когда тут все в разгоне.

— Да, пожалуй, никакого, — согласился почтенный седовласый Джевонс и задумчиво поглядел вслед легкому суденышку Лафаржа.

За кормой резвились пять дельфоидов, — прыгали, пускали фонтаны, описывали вокруг лодки круги. Никто их не звал, но теперь мало кто из людей решался уходить далеко от Станции без такого эскорта.

Когда случалось какое-нибудь несчастье, — а они не редкость на этой планете, такой же огромной и разнообразной, как

Земля, — дельфоиды не раз спасали людям жизнь. В самом худшем случае можно было просто сесть на дельфоида верхом, но чаще они вчетвером, впятером ухитрялись поддержать поврежденную лодку на плаву, будто знали, во что это обходится — переправить с Земли на Венеру хотя бы гребную шлюпку.

— Я и сам бы не прочь поискать что-нибудь новенькое, — сказал Джевонс и усмехнулся. — Но надо же кому-то сторожить нашу лавочку.

— Да, а как здешние рыбки приняли последнюю партию товара? — поинтересовался Мак-Клелан. — Берут они побрякушки из пластика?

— Нет, — сказал Джевонс. — Ноль внимания. По крайней мере, ясно, что у них неплохой вкус. Возьмете эти бусы обратно?

— Нет уж, дудки! Швырните их в воду. А что вы еще подскажете? На что они, по-вашему, скорее клюнут?

— Знаете, — вмешался Хоуторн, — я подумываю насчет инструмента. Что-нибудь такое, специально для них приспособленное, чтобы они могли работать, держа орудие во рту…

— Надо сперва испробовать то, что есть под рукой, а уж потом запросим образцы с Земли, — сказал Джевонс. — Я-то мало в это верю. На что дельфоиду нож или молоток?

— Нет, я думаю, прежде всего им пригодятся пилы. Нарезать кораллит на плиты и строить подводные убежища.

— За каким дьяволом? — изумился Мак-Клелан.

— Не знаю, — сказал Хоуторн. — Мы вообще слишком мало знаем. Возможно, укрытия от непогоды на дне океана и не нужны, хотя, может, и это не такой уж бред. На больших глубинах наверняка есть холодные течения. Но у меня другое на уме… я у многих дельфоидов видел шрамы — как будто следы зубов, но тогда хищник, должно быть, невероятная громадина.

— А это идея! — Джевонс улыбнулся. — Как славно, что вы уже вернулись, Нат, и по обыкновению полны новых идей. И очень благородно с вашей стороны, что вы в первый же день вызвались дежурить на Станции. С вас бы никто этого не спросил.

— Э, у него хватит приятных воспоминаний, чтобы скрасить унылые будни! — съязвил Мак-Клелан. — Я видел, как он развлекался в одном притоне в Чикаго. Ух, и весело же проводил времечко!

За кислородной маской трудно разобрать выражение лица, но Хоуторн чувствовал, что у него побагровели уши. Джевонс не любил путаться в чужие дела, но он немного старомодный… И он как отец, его чтишь куда больше, чем сурового человека в черном, о котором с детства осталось лишь далекое смутное

воспоминание. При Джевонсе неуместно хвастать тем, что вытворяешь в дни отпуска на Земле.

— Я бы хотел обмозговать новые биохимические данные и в свете их набросать программу исследований, — поспешно сказал Хоуторн. — И еще возобновить дружбу с Оскаром. Он очень трогательно преподнес мне этот самоцвет. Я чувствую себя просто гнусно оттого, что отдал такой подарок Компании.

— Еще бы! За него такую цену можно заломить… я бы на твоем месте тоже чувствовал себя гнусно, — подхватил Мак-Клелан.

— Да нет, я не о том. Просто… Э, ладно, тебе пора!

Хоуторн и Джевонс еще постояли, провожая бот глазами.

Ракета оторвалась от воды и пошла вверх — поначалу медленно, грохоча и изрыгая пламя, потом быстрей, быстрей. Но к тому времени, как она вонзилась в облака, она уже походила на метеорит, только летящий не вниз, как положено, а вверх. Все увеличивая скорость, она пробивала слой облачности, вечно окутывающей планету, и вот уже совсем потонула в этом покрывале, которое изнутри, в иллюминатор, кажется не серым, а ослепительно белым.

На высоте стольких миль даже воздух Венеры становится разреженным и жгуче холодным, водяные пары замерзают. Вот почему с Земли астрономы не могли обнаружить по спектрам поглощения, что вся Венера — это один безбрежный океан. Первые исследователи думали найти здесь пустыню, а нашли воду… А Мак-Клелан, межпланетный извозчик, все мчится на своем огненном коне — еще стремительней, еще выше, среди слепящих созвездий.

Рев ракеты затих, и замечтавшийся Хоуторн очнулся.

— Да, сколько мы ни мудрили, сколько ни изобретали, а из всего, что нами создано, только одно прекрасно — межпланетные перелеты. Уж не знаю, сколько уродств и разрушений это искупает.

— Не будьте таким циником, — сказал Джевонс. — Мы создали еще и сонаты Бетховена, и портреты Рембрандта, и Шекспирову драму… и уж кто-кто, а вы могли бы восславить и красоту самой науки.

— Но не техники, — возразил Хоуторн. — Наука — чистое, строгое знание — да. Это для меня ничуть не ниже всего, что сотворили ваши Бетховены и Рембрандты. А вот всякая эта механика — перетряхнуть целую планету, лишь бы в мире кишело еще больше народу…

А славно вернуться, славно поговорить с капитаном Джевонсом! С ним можно позволить себе разговаривать всерьез.

— Что-то вы после отпуска захандрили, — заметил старик. — Он должен бы оказать на вас обратное действие. Молоды вы еще хандрить.

— Я ведь родом из Новой Англии, — Хоуторн через силу усмехнулся. — Такая уж наследственность, хромосомы требуют, чтобы я был чем-нибудь недоволен.

— Мне больше посчастливилось, — сказал Джевонс. — Я, как пастор Грундтвиг лет двести назад, сделал чудесное открытие: бог — добр!

— Хорошо, когда можешь верить в бога. Я не могу. Эта концепция никак не согласуется с мерзкой кашей, которую человечество заварило на Земле.

— Бог должен был предоставить нам свободу действий, Нат. Неужели вы бы предпочли оказаться всего лишь толковой и послушной марионеткой?

— А может быть, ему все равно? — сказал Хоуторн. — Если, допустим, он существует, разве весь наш опыт дает основание думать, что он к нам как-то особенно благоволит? Может быть, человек — это просто еще один неудачный эксперимент, наподобие динозавров: на нем уже поставлен крест и пускай обращается в прах и вымирает. Откуда мы знаем, что Оскар и его сородичи не наделены душой? И откуда мы знаем, что у нас она есть?

— Не следует чересчур превозносить дельфоидов, — заметил Джевонс. — Они в какой-то мере разумны, согласен. Но…

— Да, знаю. Но — не строят межпланетных кораблей. И у них нет рук, и, само собой, они не могут пользоваться огнем. Все это я уже слышал, капитан. Сто раз я с этим спорил и здесь, и на Земле. Но почем знать, что могут и что делают дельфоиды на дне океана? Не забудьте, они способны оставаться под водой по нескольку дней кряду. И даже здесь, на поверхности, я наблюдал, как они играют в пятнашки. Их игры в некоторых отношениях просто замечательны. Могу поклясться, что в этих играх есть система — слишком сложная, мне трудно ее понять, но тут явно система. Это вид искусства, вроде нашего балета, только они танцуют еще и в согласии с ветром, с течениями и волнами. А как вы объясните, что они так разборчивы в музыке? Ведь у них явно разные вкусы — Оскар предпочитает старый джаз, а Самбо на такие пластинки и не смотрит, зато платит самыми лучшими самоцветами за Букстехуде.[3] И почему они вообще торгуют с нами?

— Некоторым породам крыс на Земле тоже известна меновая торговля, — сказал Джевонс.

— Нет, вы несправедливы. Когда первая экспедиция, прибыв

на Венеру, обнаружила, что дельфоиды хватают с нижней палубы всякую всячину, а взамен оставляют раковины, куски кораллита и драгоценные камни, наши тоже решили, что тут налицо психология стадных крыс. Знаю, отлично все знаю. Но ведь это развилось в сложнейшую систему цен. И дельфоиды по этой части очень хитрые — честные, но и хитрые. Они до тонкостей усвоили наши мерки и отлично понимают, какая чему цена, от конхоидной раковины до самоцвета-огневика. Вызубрили весь прейскурант до последней запятой, шутка сказать! И еще: если это просто животные, с какой стати им гнаться за музыкальными записями в пластиковой упаковке, работающими от термоэлемента? И на что им водоупорные репродукции величайших созданий нашей живописи? А что у них нет орудий труда — сколько раз мы видели, как им помогают стаи разных рыб: одна порода окружает и загоняет всякую морскую живность, другая убивает и свежует, третья снимает урожай водорослей. Им не нужны руки, капитан. Они пользуются живыми орудиями!

— Я работаю здесь не первый день, — сухо заметил Джевонс.

Хоуторн покраснел.

— Простите меня. Я так часто читал эту лекцию на Земле людям, которые понятия не имеют о простейших фактах, что это превратилось в условный рефлекс.

— Я вовсе не хочу унизить наших водяных друзей, — сказал капитан. — Но вы знаете не хуже меня, сколько за эти годы мы пробовали установить с ними общий язык, переговариваться при помощи каких-либо знаков, символов, сигналов — и все зря.

— Вы уверены? — спросил Хоуторн.

— То есть как?

— Откуда вы знаете, что дельфоиды по этим грифельным доскам не изучили наш алфавит?

— Но ведь… в конце концов…

— А может быть, у них есть веские причины не брать в зубы масляный карандаш и не писать нам ответные письма. Почему бы им не соблюдать некоторую осторожность? Давайте смотреть правде в глаза, капитан. Мы для них — чужаки, пришельцы, чудовища. Или, может быть, им просто нелюбопытно: наши лодки и мотоботы забавны, с ними можно поиграть; наши товары тоже занимательны настолько, что с нами стоит меняться; ну, а сами мы нудны и неинтересны. Или же — и это, по-моему, самое правдоподобное объяснение — у нас и у них слишком разный склад ума. Подумайте, как несхожи наши планеты. Если две формы разумной жизни настолько различны, у них и мышление едва ли может быть схожим — вам не кажется?

— Интересное рассуждение, — заметил Джевонс. — Впрочем,

такое уже приходилось слышать.

— Ладно, пойду разложу для них новые игрушки, — сказал Хоуторн.

Но отойдя на несколько шагов, остановился и круто обернулся.

— А ведь я болван! — сказал он. — Оскар вступил с нами в переговоры, и не далее как вчера вечером. Самое недвусмысленное послание: самоцвет-огневик.

Хоуторн прошел мимо тяжелого пулемета, заряженного разрывными пулями. До чего гнусный порядок — мы держим в постоянной боевой готовности целый арсенал! Как будто Венера когда-нибудь угрожала людям. — Разве только без чьей-либо злой воли, безличными опасностями, которых мы не умеем избежать просто по собственному невежеству.

Он прошел дальше по торговой пристани. Металлическая поверхность сверкала почти вровень с водой. За ночь с пристани опустили плетеные, вроде корзин, контейнеры с обычными ходовыми товарами. Тут были музыкальные записи и картины, уже хорошо знакомые дельфоидам, но видно, никогда им не надоедавшие. Может быть, каждый хотел обзавестись собственным экземпляром? Или они распространяют эти вещи у себя под водой в каком-то подобии библиотек и музеев?

Затем тут были небольшие пластиковые контейнеры с поваренной солью, нашатырным спиртом и другими веществами, которые, видимо, служили для дельфоидов отменным лакомством.

Венера лишена материков, которые мог бы омывать океан, поэтому он гораздо меньше насыщен различными минералами, чем земные моря, и все эти химические вещества здесь в диковинку. И однако от пластиковых мешочков с иными составами дельфоиды отказывались, например от соли марганцевой кислоты, и последние биохимические исследования обнаружили, что для всех форм венерианской жизни марганец ядовит.

Но как дельфоиды это узнали, ведь ни один не раздавил непроницаемый пластиковый мешочек зубами? Они просто знали — и все тут. Человеческие существа и человеческая наука еще далеко не исчерпывают возможных во Вселенной способов познания.

В стандартный список товаров постепенно были включены кое-какие игрушки — например плавучие мячи, которыми дельфоиды пользовались для каких-то свирепых игр, и особым образом изготовленные перевязочные материалы, чтобы накладывать на раны…

«Никто и не сомневался, что Оскар куда разумнее, чем шимпанзе, — думал Хоуторн. — Вопрос в том, настолько ли он разумен, чтобы сравняться с человеком?»

Хоуторн вытащил корзины из воды и извлек обычную, установившуюся плату, оставленную дельфоидами. Тут были самоцветы-огневики либо маленькие, но безупречные, либо большие, нос изъянами. Один был большой и притом безукоризненно круглый — словно большая круглая капля радуги. Были и особенно красивые образчики кораллита, из которого на Земле выделывают украшения, и несколько видов раковин удивительной красоты.

Были здесь и образчики подводной жизни для изучения, почти все — еще не виданные человеком. Сколько миллионов разновидностей живых существ населяют эту планету? Были кое-какие инструменты, когда-то оброненные за борт и погребенные в иле, а сейчас вновь открытые переменчивыми подводными течениями; был какой-то непонятный комок — легкий, желтого цвета, жирный на ощупь, возможно, вещество биологического происхождения, вроде амбры; быть может, оно малоинтересно, а быть может, это ключ, открывающий совершенно новую область химии. Добыча со всей планеты болталась сейчас в коробках Хоуторновой коллекции.

Для всех новинок была установлена определенная довольно скромная цена. Если люди и во второй раз возьмут такой же образчик, они заплатят дороже, и так будет опять и опять, пока не установится постоянная цена, не слишком высокая для землян и не настолько низкая, чтобы дельфоидам не стоило трудиться, поставляя товар. Просто удивительно, какую подробную и точную систему товарообмена можно разработать, не прибегая к помощи речи.

Хоуторн посмотрел вниз, на Оскара. Огромный морской зверь недавно вынырнул поблизости и теперь лежал на воде, носом к пристани, лениво поплескивая хвостом. Приятно смотреть, как блестит темно-синим глянцем круто выгнутая спина.

— Знаешь, дружище, — пробормотал Хоуторн, — уже сколько лет на Земле хихикают над вашим братом, — мол, экие простофили, отдают нам невиданные драгоценности в обмен на какие-то дрянные побрякушки. А вот я начинаю думать — может, мы с вами квиты, и еще неизвестно, кто кого дурачит? Может, на Венере эти самые огневики не такая уж редкость?

Оскар легонько фыркнул, пустил из дыхала фонтанчик и повел блестящим лукавым глазом. Престранное выражение мелькнуло на его морде. Конечно же, было бы чистейшим легкомыслием, недостойным ученого мужа, назвать это

усмешкой. Но хоть убейте, а внутренне Оскар именно усмехнулся!

— Ладно, — сказал Хоуторн, — ладно. Теперь поглядим, какого вы мнения о наших новых р-роскошных изделиях. Мы столько лет соображали, чем бы скрасить ваше житье-бытье, — и вот привезли всякой всячины. Все эти изделия вместе и каждое в отдельности, господа и дамы дельфоиды, испытаны и проверены в наших безупречных лабораториях, и не думайте, что это так просто — испытать, к примеру, патентованный пятновыводитель. Итак…

Мелодичное журчание Шенберга было отвергнуто. Возможно, другие композиторы-атоналисты пришлись бы местному населению по вкусу, но учитывая, что в межпланетных кораблях каждая кроха груза на счету, опыт повторится не скоро. С другой стороны, запись старинных японских песен исчезла, взамен оставлен был самоцвет в два карата — вдвое больше, чем платят обычно за новинку; это означало, что какой-то дельфоид хочет получить еще одну такую же запись.

По обыкновению, картины всех современных художников были отвергнуты, но, признаться, Хоуторн и сам не очень жаловал эту живопись. Ни один дельфоид не польстился на Пикассо (средний период), но Мондриан и Матисс шли недурно. Куклу взяли за самую низкую цену — обломок минерала. Дескать, ладно уж, эту мы (я?) возьмем, но не трудитесь — больше такого не требуется.

Опять же отвергнуты были непромокаемые книжки с картинками; после первых немногих проб дельфоиды никогда не брали книг. Среди прочего именно их неприязнь к книгам заставляла многих исследователей сомневаться в том, что это действительно разумные, мыслящие существа.

«И ничего из этого не следует, — думал Хоуторн. — У них нет рук, поэтому для них неестественно пользоваться печатным текстом. Некоторые лучшие образцы нашего искусства стоят того, чтобы утащить их под воду и сохранить просто потому, что они красивы или интересны, или забавны, или, кто знает, что еще находят в них дельфоиды. Но если нужно запечатлеть факты и события, у дельфоидов вполне могут быть для этого свои, более подходящие способы. Какие, к примеру? Кто его знает? Может быть, у них отличная память. А может быть, при помощи, скажем, телепатии они записывают все, что требуется, в кристаллической структуре камней на дне океана?»

Оскар кинулся вдоль пристани, догоняя Хоуторна. Тот присел на корточки и потрепал дельфоида по мокрому гладкому лбу.

— Ну, а ты что обо мне думаешь? — спросил он вслух. —

Может, в свой черед гадаешь, способен ли я мыслить. Ну да, ну да. Мое племя свалилось с неба и построило плавучие металлические поселки и доставляет вам всяческие занятные и полезные штучки. Но ведь и муравьи, и термиты живут по каким-то своим законам, и у вас на Венере есть твари в этом роде, с очень сложными правилами общежития.

Оскар пустил фонтанчик и ткнулся носом в щиколотки Хоуторна. Далеко на воде резвились его сородичи, высоко взлетали, описывая в воздухе дугу, и снова ныряли, взбивая на фиолетовых волнах ослепительную ярко-белую пену. Еще дальше, в дымке, едва различимые глазом, трудились несколько взрослых дельфоидов: при помощи трех разных видов прирученных (так, что ли?) водяных жителей загоняли косяк рыбы. Судя по всему, они делали свое дело с истинным удовольствием.

— Ты не имеешь никакого права быть таким умницей и хитрецом, Оскар, — сказал Хоуторн. — Согласно всем правилам, разум развивается в быстро изменяющейся среде, а океан, согласно всем теориям, недостаточно изменчив. Да, но может быть, это справедливо только для земных морей? А тут Венера — много ли мы знаем о Венере? Скажи-ка, Оскар, может быть, ты — что-то вроде собаки, а рыба, которую вы тут пасете, это просто тупой скот, и она так же покорно служит вам, как травяная тля — муравьям? Или это настоящие домашние животные, которых вы сознательно приручили? Наверняка именно так. Я буду стоять на этом до тех пор, пока муравьи не начнут увлекаться Ван Гогом и Бидербеком.

Оскар фыркнул, обдал Хоуторна углекислой океанской водой. Она живописно запенилась, защекотала кожу. Чуть повеял ветерок, сдувая влагу с одежды. Хоуторн вздохнул. Дельфоиды, совсем как дети, ужасные непоседы — еще одно основание для многих психологов ставить их лишь чуточку выше земных обезьян.

Не слишком логично, мягко говоря. Темп жизни на Венере куда быстрей земного, каждую секунду на тебя сваливается что-то неожиданное и неотложное. И даже если у дельфоидов просто непостоянный нрав, разве это признак глупости? Человек — животное, тяжелое на подъем, он давно забыл бы, что значит играть и резвиться, если бы ему об этом вечно не напоминали. Очень может быть, что здесь, на Венере, жизнь сама по себе доставляет куда больше радости.

«Напрасно я унижаю собственное племя, — подумал Хоуторн. — Суди все века, кроме нынешнего, и все страны, кроме своего отечества. Мы не похожи на Оскара, только и всего. Но разве из этого следует, что он хуже нас? Ладно, давай лучше

сообразим, как бы сконструировать такую пилу, чтобы дельфоиду сподручно было с нею управляться. Сподручно? Когда у тебя нет рук, а только рот? Если дельфоиды станут выменивать у людей такие инструменты, это будет веским доказательством, что по уровню развития они совсем не так далеки от человека. А если не пожелают, что ж, это будет лишь означать, что у них иные желания, и вовсе не обязательно более низменные, чем наши.

Вполне возможно, что племя Оскара в умственном отношении стоит выше человечества. Почему бы и нет? Их организм и их окружение таковы, что они не могут пользоваться огнем, обтесанным камнем, кованым металлом и графическими изображениями. Но может быть это заставило их мысль искать иные, более сложные пути? Племя философов, которое неспособно объясняться с человеком, ибо давно позабыло младенческий лепет…

Да, конечно, это дерзкая гипотеза. Но одно бесспорно: Оскар отнюдь не просто смышленое животное, даже если его разум и не равен человеческому. И однако, если племя Оскара достигло, скажем, уровня питекантропа, это произошло потому, что в условиях жизни на Венере есть что-то особенно благоприятное для развития разума. Это особое условие будет действовать и впредь. Пройдет еще, скажем, полмиллиона лет — и дельфоид духовно и умственно наверняка ничуть не уступит современному человеку. А человек к тому времени, пожалуй, выродится или сгинет вовсе. Возможно, у них будет куда больше души… больше чувства красоты, больше доброты и веселости, если судить по их нынешнему поведению.

Короче говоря, Оскар либо (а) уже равен человеку, либо (б) уже обогнал человека, либо (в) быстро и несомненно растет, и его потомки рано или поздно (а) сравняются с человеком и затем (б) обгонят его. Милости просим, брат!»

Пристань дрогнула. Хоуторн опустил глаза. Оскар вернулся. Он нетерпеливо тыкался носом в металлическую стенку и махал передним ластом. Хоуторн подошел ближе и посмотрел на дельфоида. Не переставая махать ластом, Оскар изогнул хвост и хлопнул себя по спине.

— Э, постой-ка! — Хоуторна осенило. В нем вспыхнула надежда. — Постой-ка, ты что, зовешь меня прокатиться?

Дельфоид мигнул обоими глазами. «Может быть, для него мигнуть — все равно что для меня кивнуть головой? А если так, может быть, Оскар и впрямь понимает по-человечьи?!»

Хоуторн бросился за электролизным аппаратом. Скафандр хранился тут же в ящике, Хоуторн натянул его на себя — гибкий, как трико, с равномерным обогревом. Задержал дыхание,

отстегнул маску от резервуара и смесителя и вместо них надел два кислородных баллона, превратив обычное снаряжение в акваланг.

На минуту он замялся. Предупредить Джевонса? Или хотя бы отнести коробки с очередными приношениями дельфоидов? Нет, к черту! Это вам не Земля, где пустую бутылку из-под пива и ту нельзя оставить без присмотра, непременно свиснут. А Оскару, пожалуй, надоест ждать. Венериане — да, черт подери, вот так он и будет их называть, и провались она в тартарары, высокоученая осмотрительность в выборе терминологии! — венериане не раз вырвали людей, терпящих бедствие, но никогда еще не предлагали покатать их просто так. Сердце Хоуторна неистово колотилось.

Он бегом кинулся обратно. Оскар лежал в воде совсем рядом с пристанью. Хоуторн сел на него верхом, ухватился за маленький затылочный плавник и прислонился спиной к мускулистому загривку. Длинное тело скользнуло прочь от Станции. Заплескалась вода, лаская босые ступни. Лицо там, где оно не было прикрыто маской, освежал ветер. Оскар взбивал ластами пену, будто завилась снежная метель.

Низко над головой неслись радужные облака, небо на западе прошивали молнии. Мимо проплыл маленький полипоид, килевой плавник его был погружен в воду, отливающая всеми цветами радуги перепонка-парус влекла его вперед. Какой-то дельфоид неподалеку хлопнул хвостом по воде в знак приветствия.

Они скользили так ровно, незаметно, что, оглянувшись, Хоуторн внутренне ахнул: от Станции уже добрых пять миль! И тут Оскар ушел под воду.

Хоуторн немало работал под водой и просто в водолазном костюме, и подолгу — в субмарине либо в батискафе. Его не удивила фиолетовая прозрачность верхних слоев воды, переходящая во все более сочные густые тона по мере того, как опускаешься глубже. И светящиеся рыбы, что проносились мимо, будто радужные кометы, были тоже ему знакомы. Но никогда прежде он не ощущал между коленями этой живой игры мускулов; вдруг он понял, почему на Земле иные богачи все еще держат лошадей.

Наконец они погрузились в прохладную, безмолвную, непроглядную тьму — и вот тут-то Оскар пустился полным ходом. Хоуторна чуть не сорвало встречным током воды, но какое это было наслаждение — так мчаться, держась изо всех сил! Не зрение, какое-то шестое чувство подсказывало ему, что они петляют по пещерам и ущельям в горах, скрытых глубоко под

водой. Прошел час, и впереди замерцал свет — далекая слабая искорка. Еще полчаса — и он понял, откуда исходит этот свет.

Он часто бывал у светящихся кораллитовых гряд, но эту видел впервые. По масштабам Венеры этот риф был не так уж далеко от Станции, но даже радиус в двадцать миль охватывает огромную площадь, и люди сюда пока не добрались. Притом обычные рифы не так отличались от своих коралловых собратьев на Земле: причудливая мешанина шпилей, зубцов, откосов, пещер, колдовская, но дикая красота.

А здесь кораллит не был бесформенным. Глазам Хоуторна открылся подводный город.

Позже он не мог в точности припомнить, каков был этот город. Непривычный мозг не умел удержать странные, чуждые очертания. Но ему запомнились изящные рифленые колонны, сводчатые помещения с фантастическими узорами на стенах; здесь высился массив с чистыми, строгими линиями, там изгибалась варварская прихотливая завитушка. Он видел башни, витые, точно бивень нарвала; тончайшие филигранные арки и контрфорсы; и все объединял общий стройный рисунок, легкий, словно брызги пены, и в то же время мощный, точно прибой, опоясывающий целую планету, — грандиозный, сложный, безмятежно спокойный.

Город был построен из сотен пород кораллита, каждая светилась по-своему, и так тонко подобраны были цвета, что на черном фоне океанской глуби играли и переливались все мыслимые тона и оттенки огненно-красного, льдисто-голубого, жизнерадостнозеленого, желтого. И откуда-то, Хоуторн так и не понял откуда, лился слабый хрустальный звон, неумолчная многоголосая симфония — в переплетении этих голосов он не мог разобраться, но вдруг вспомнилось детство и морозные узоры на окнах…

Оскар дал ему поплавать здесь самому и оглядеться. Тут были и еще дельфоиды, они двигались неторопливо, спокойно, многие — с детенышами. Но ясно было, что они здесь не живут. Может быть, это какой-то памятник, или художественная галерея, или… как знать? Город был огромен, опускался отвесно вниз, ко дну океана, по меньшей мере на полмили, ему не видно было конца — вздумай Хоуторн уйти так далеко в глубину, давление убило бы его. И однако это чудо зодчества, несомненно, создано было не ради каких-либо практических целей. А может быть, не так? Быть может, венериане постигли истину, давно забытую на Земле, хотя древним грекам она была известна: тому, кто мыслит, созерцать красоту столь же необходимо, как дышать.

Чтобы под водой соединилось в одно гармоническое целое

столько прекрасного — это, конечно, не могло быть просто капризом природы. И однако этот исполинский дворец не был вырезан, вырублен в древнем подводном хребте. Сколько Хоуторн ни присматривался (а при ровном безогненном пламени видно было превосходно), нигде он не обнаружил следов резца или отливки. Напрашивался единственный вывод: каким-то неведомым способом сородичи Оскара попросту вырастили этот город!

Он совсем забылся. Наконец Оскар легонько толкнул его в бок, напоминая, что пора возвращаться, пока не иссяк кислород. Когда они подплыли к Станции и Хоуторн шагнул на пристань, Оскар мимолетно ткнулся носом ему в ногу, будто поцеловал, и шумно пустил огромный водяной фонтан.

К концу дня — на Венере он тянется сорок три часа — стали вразброд возвращаться лодки. Почти для всех просто минула еще одна рядовая, будничная вахта: сделан десяток-другой открытий, записи и показания приборов пополнились новыми данными, над которыми будешь теперь ломать голову и, возможно, что-нибудь в них поймешь. Люди устало причаливали, разгружали свои суденышки, собирали находки и шли поесть и отдохнуть. А уж после настанет пора копаться во всем этом и спорить до хрипоты.

Вим Дикстра и Джимми Чентун вернулись раньше других и привезли кучу измерительных приборов. Хоуторн в общих чертах знал, чем они занимаются. При помощи сейсмографа и звуковых зондов исследуя ядро планеты, делая анализы минералов, измеряя температуру, давление и изучая еще многое множество всяческих показателей, они пытались разобраться во внутреннем строении Венеры.

Это была часть извечной загадки. Масса Венеры составляет восемьдесят процентов земной, химические элементы здесь те же. Земля и Венера должны быть схожи, как сестры-близнецы. А между тем магнитное поле Венеры так слабо, что обычный компас здесь бесполезен; поверхность планеты такая ровная, что суша нигде не выступает над водой; вулканические и сейсмические процессы не только гораздо слабее, но и протекают, неизвестно почему, совсем иначе; у потоков лавы и у взрывных волн, расходящихся по толще планеты, какие-то свои, неясные законы; горные породы здесь непонятных типов и непонятно распределены по дну океана. И еще есть несчетное множество странностей, в которые Хоуторн даже не пытался вникать.

Джевонс упомянул, что в последние недели Дикстру все сильней обуревает тайное волнение. Голландец из тех осторожных ученых, которые словом не обмолвятся о своих выводах и открытиях, пока не установят все до конца твердо и

неопровержимо. По земному времени он проводит за вычислениями целые дни напролет. Когда кто-нибудь, потеряв терпение, все-таки чудом прорывается к ЭВМ, Дикстра нередко продолжает считать с карандашом в руках. Нетрудно догадаться: он вот-вот разрешит загадку геологического строения планеты.

— Или, может быть, афродитологического? — пробормотал Джевонс. — Но я знаю Вима. За этим кроется не просто любопытство или желание прославиться. У Вима на уме что-то очень серьезное и очень заветное. Надеюсь, он уже скоро доведет дело до конца.

В этот день Дикстра бегом ринулся вниз и поклялся, что никого не подпустит к ЭВМ, покуда не кончит. Чентун еще повертелся тут же, притащил ему сэндвичей и наконец вышел со всеми на палубу: на Станции снова ждали Малыша Мак-Клелана.

Здесь его и нашел Хоуторн.

— Послушайте, Джимми, хватит напускать на себя таинственность. Тут все свои.

Китаец расплылся в улыбке.

— Я не имею права говорить. Я только ученик. Вот получу докторскую степень, тогда начну болтать без умолку, все вы еще пожалеете, что я не выучился восточной непроницаемости.

— Да, но черт возьми, в общем-то всем ясно, чем вы с Вимом занимаетесь, — настаивал Хоуторн. — Как я понимаю, он заранее высчитал, какие примерно показатели получит, если его теория верна. И теперь сопоставляет свои предложения с опытными данными. Так в чем же соль его теории?

— По существу, тут никакого секрета нет, — сказал Чентун. — Это просто подтверждение гипотезы, выдвинутой сто с лишком лет назад, когда мы еще сидели на Земле и никуда не летали. Смысл в том, что ядро Венеры не такое, как у нашей Земли, отсюда и все другие коренные различия. Доктор Дикстра разработал целую теорию, и до сих пор все полученные данные подтверждают ее. Сегодня мы доставили сюда кое-какие измерения, пожалуй, они решат вопрос; это больше по части сейсмического отражения, полученного при взрыве глубинных бомб в океанских скважинах.

— М-мда, кое-что я об этом знаю.

Застывшим взглядом Хоуторн смотрел вдаль. На воде не видно было ни одного дельфоида. Может быть, они ушли в глубину, в свой прекрасный город? А зачем? «Хорошо, что на вопросы далеко не всегда получаешь ответ, — подумал он. — Если бы на Венере не осталось больше ни одной загадки, уж не знаю, как бы я стал жить».

— Предполагается, что ядро Венеры гораздо меньше земного

и далеко не такое плотное, так ведь? — продолжал он вслух.

По правде говоря, это его не слишком занимало, но пока не пришел рейсовый бот, он хотел потолковать с Джимми Чентуном.

Молодой китаец прибыл на Венеру с той самой ракетой, на которой Хоуторн улетал в отпуск. Теперь им долго придется жить бок о бок и хорошо бы сразу завязать добрые отношения. Притом он как будто славный малый.

— Все верно, — кивнул Чентун. — Хотя «предполагается» — не то слово. В основном это уже доказано вполне убедительно и довольно давно. С тех пор доктор Дикстра изучал всякие частности.

— Помнится, я где-то вычитал, что у Венеры вообще не должно быть никакого ядра, — сказал Хоуторн. — Масса недостаточно велика, чтобы возникло достаточное давление или что-то вроде этого. Она должна бы, как Марс, вся, до самого центра, состоять из однотипных горных пород.

— Ваша память вам чуточку изменяет, — заметил Чентун с мягкой, ничуть не обидной иронией. — Но, по правде сказать, не так-то все просто. Видите ли, если при помощи законов количества вывести кривую соотношения между давлением в центре планеты и ее массой, мы не получим спокойной плавной линии. Пока не дойдет примерно до восьми десятых земной массы, кривая нарастает равномерно, но потом, в так называемой точке Игрек, картина меняется. Кривая изгибается так, как будто с возросшим давлением масса уменьшилась, и только после этого провала (он соответствует примерно двум процентам земной массы) опять неуклонно идет вверх.

— Что же происходит в этой точке Игрек? — рассеянно спросил Хоуторн.

— Сила давления возрастает настолько, что в центре начинается распад вещества. Первые кристаллы, уже достигшие возможного предела плотности, разрушаются полностью. Далее, с возрастанием массы планеты, начинается уже распад самих атомов. Еще не ядерный распад, конечно, — для этого понадобилась бы масса порядка звездной. Но электронная оболочка сжимается до предела. И только когда достигнута эта стадия количественного перерождения… когда атом больше не поддается и налицо уже настоящее ядро со специфической силой тяготения больше десяти… вот только после этого возрастание массы опять влечет за собой равномерный и неуклонный рост внутреннего давления.

— Угу… да, припоминаю, когда-то Вим об этом толковал. Но он обычно не ведет профессиональных разговоров, разве что со своим братом-геологом. А вообще, он предпочитает рассуждать на

исторические темы. Значит, если я правильно понял, в ядре Венеры распад зашел не так далеко, как следовало бы?

— Да. При теперешней внутренней температуре Венера только-только миновала точку Игрек. Если бы каким-то способом подбавить ей массы, ее радиус уменьшился бы. Это не случайно — и неплохо объясняет разные здешние странности. Ясно видно, как с самого начала, со времени образования планеты, вещества все прибавлялось, количество его росло до той критической точки, когда Венера начала сжиматься, — и тут-то рост прекратился, и ядро не достигло наибольшей плотности, за которой последовал бы дальнейший непрерывный рост объема, как было с Землей. А поэтому и получилась планета с гладкой поверхностью, без круто поднимающихся массивов, которые могли бы выступить из океана и образовать материки. Раз нет обнаженных горных пород, нет и растительности, способной извлечь из воздуха почти всю углекислоту. А стало быть, жизнь развивается в иной атмосфере. При относительно мощной мантии и не слишком плотном ядре, естественно, сейсмическая, вулканическая деятельность и минералы здесь не те, что на Земле. Ядро Венеры не такой хороший проводник, как земное, — ведь с распадом вещества проводимость возрастает, — а значит, циркулирующие в нем токи гораздо слабее. Поэтому и магнитное поле у Венеры незначительно.

— Все это очень интересно, — сказал Хоуторн. — Но к чему такая таинственность? Вы отлично поработали, это верно, но доказали всего-навсего, что на Венере атомы подчиняются законам количества. Едва ли столь неожиданное открытие перевернет мир.

Чентун едва заметно повел плечом.

— Это было труднее, чем кажется, — сказал он. — Но все правильно. Наши новые данные недвусмысленно подтверждают, что ядро Венеры именно такого типа, какой может быть в существующих условиях.

Во время долгой венерианской ночи Чентун, превосходно говоривший по-английски, как-то попросил Хоуторна поправлять его ошибки в языке, и теперь американец заметил:

— Вероятно, вы хотели сказать — такой тип ядра и должен быть в этих условиях.

— Нет, я сказал именно то, что хотел сказать, это не тавтология. — Чентун ослепительно улыбнулся. Обхватил себя руками за плечи и сделал несколько легких, скользящих шагов, словно танцевать собрался. — Но это детище доктора Дикстры. Пусть уж он сам поможет младенцу появиться на свет.

И Джимми Чентун круто переменил разговор. Хоуторн даже

смутился от неожиданности, но решил не обижаться. А вскоре в облаках засверкала и медленно опустилась на воду ракета Мак-Клелана. Зрелище великолепное, но Хоуторн поймал себя на том, что почти и не смотрит. Он все еще мысленно был в толще океана, в живом храме венериан.

Через несколько часов после захода солнца Хоуторн положил на стол пачку отчетов. Крис Дил и Мамору Мацумото совершили чуть ли не подвиг. Даже сейчас, на самых первых подступах к серьезным исследованиям, их теория ферментного симбиоза открыла просто фантастические возможности. Тут новой науке хватит работы по меньшей мере на столетие. И эта работа поможет так глубоко проникнуть в тайны жизненных процессов не только на Венере, но и на Земле, как люди еще недавно не смели и надеяться.

И можно ли предсказать, сколько все это принесет человечеству прямых, ощутимых благ? Открываются такие горизонты, что дух захватывает. У него ведь и у самого зреют кое-какие планы… да, да, и теперь он даже догадывается, хоть и смутно, каким образом венериане создали тот чудесный подводный город… Но когда час за часом напряженно и сосредоточенно работаешь головой, требуется передышка. Хоуторн вышел из своего крохотного кабинетика и побрел по коридору в кают-компанию.

Станция гудела, как улей. Едва ли не все пятьдесят человек сейчас работали. Одни несли очередную вахту, проверяли аппаратуру, разбирали и укладывали товары для обмена и занимались всякой иной обыденщиной. Другие с упоением хлопотали над пробирками, микроскопами, спектроскопами и прочей, уж вовсе не понятной снастью. Иные, примостясь у лабораторного стола, варили на бунзеновской горелке кофе и яростно спорили либо — с трубкой в зубах, задрав ноги повыше и закинув руки за голову, — в муках рождали новую идею. Кое-кто заметил проходящего мимо Хоуторна и дружески его окликнул. И сама Станция привычно бормотала что-то: приглушенно гудели машины, жужжали вентиляторы, вокруг дышал не знающий покоя океан — и от этого все тихонько вздрагивало.

Славно вернуться домой!

Хоуторн поднялся по трапу, прошагал еще одним коридором и вошел в кают-компанию. В углу Джевонс читал своего излюбленного Монтеня. Мак-Клелан и Чентун играли в кости. В просторной комнате больше никого не было. За прозрачной стеной открывался океан, сейчас он был почти черный, в мутных разводах и кружеве золотого свечения.

Небо как бы расслаивалось на бесчисленные серые и голубые

пласты, низко повисшую над водой дымку пронизывали лучи северного сияния, запад чернел и вспыхивал молниями — надвигалась буря. И нигде ни признака жизни, только на горизонте, извиваясь, стремительно скользил сорокафутовый морской змей, зубастая пасть роняла фосфоресцирующие брызги.

Мак-Клелан поднял голову.

— А, Нат! Сыграем?

— Я же только из отпуска, — напомнил Хоуторн. — Чем мне прикажешь расплачиваться?

Он подошел к самовару и налил себе чашку чая.

— А ну, друзья, — возгласил Джимми Чентун, — проверим закон распределения старика Максвелла.

Хоуторн подсел к столу. Он все еще не решил, как бы поосторожнее рассказать об Оскаре и о подводном храме. Надо было сразу доложить Джевонсу, но, возвратясь, он несколько часов ходил как шальной и не мог опомниться, и потом — тут просто не подберешь слов. Вот если бы можно было вовсе не говорить… Когда смолоду приучен к сдержанности, больше всего боишься выдать свои чувства.

Впрочем, он подготовил кое-какие логические выводы. Венериане по меньшей мере столь же разумны, как строители Тадж Махала; они наконец решили, что двуногим пришельцам стоит кое-что показать и, возможно, понемногу откроют людям богатства и тайны своей планеты. Хоуторна обожгло горечью и яростью.

— Капитан, — начал он.

— Да?

Терпеливо, как всегда, когда его прерывали, Джевонс опустил толстый, потрепанный том.

— Сегодня случилось нечто неожиданное, — сказал Хоуторн.

Джевонс не сводил с него проницательного взгляда. Чентун кинул кости и словно забыл об игре, Мак-Клелан тоже. Слышна была тяжкая поступь волн за стеной, ветер усиливался.

— Рассказывайте, — подбодрил Джевонс.

— Я стоял на торговом причале, и в это время…

Вошел Вим Дикстра. Башмаки его гремели по металлическому полу. Хоуторн запнулся и умолк. Голландец бросил на стол с полсотни сколотых вместе листов бумаги. Казалось, эта пачка должна зазвенеть, точно меч, вызывающий на поединок, но слышен был только голос ветра.

Глаза Дикстры сверкали.

— Кончил! — сказал он.

— Ах, черт возьми! — вырвалось у Чентуна.

— Что нового в подлунном мире? — по-стариковски мягко

спросил Джевонс.

— Да не в подлунном, — вставил Мак-Клелан. У него пересохло в горле, он уставился на Дикстру во все глаза и ждал.

Несколько секунд геофизик молча смотрел на них. Потом коротко засмеялся.

— Я пробовал сочинить подобающее случаю торжественное изречение, — сказал он, — да ничего не пришло на ум. Вот так оно и бывает в исторические минуты.

Мак-Клелан взял было бумаги Дикстры и, передернувшись, положил на место.

— Послушайте, математика хорошая штука, но все-таки не до бесчувствия. Что означают эти загогулины?

Дикстра достал сигарету, не торопясь закурил. Глубоко затянулся и сказал нетвердым голосом:

— Последние недели я разрабатывал в подробностях одну старую, малоизвестную гипотезу, ее впервые выдвинул Рэмси еще в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Я применил ее к условиям Венеры. И добыл здесь такие данные, которые непреложно доказывают мою правоту.

— Кто же на этой планете не мечтает о Нобелевской премии? — заметил Джевонс.

Он был мастер охлаждать страсти, но на сей раз его суховатый тон не подействовал. Дикстра уставил на него рдеющую сигарету, словно револьвер, и ответил:

— Плевать я хотел на премию. У меня на уме техническая задача такого размаха и значения, какой еще не знала история.

Все ждали. Непонятно отчего, Хоуторн весь похолодел.

— Колонизация Венеры, — докончил Дикстра.

Слова его канули в молчание, как в глубокий колодец.

Потом донесся всплеск — Малыш Мак-Клелан сказал:

— А может, море Минданао все-таки поближе к дому?

Но Хоуторн расплескал чай и обжег пальцы.

Коротко, нервно затягиваясь сигаретой, Дикстра принялся шагать из угла в угол. Заговорил отрывисто:

— Земная цивилизация все больше приходит в упадок, и главная причина та, что мы задыхаемся, мы стиснуты, как сельди в бочке. С каждым днем народу на Земле становится все больше, а природных ресурсов все меньше. Не осталось никаких экзотических чужеземцев, некому объявить войну, чтобы захватить новые территории… вот мы и варимся в собственному соку и готовим себе самую распоследнюю атомную гражданскую войну. Если бы нам было куда податься — другое дело! Ну, конечно. Земля так перенаселена, что от эмиграции на другую планету станет ненамного легче… Хотя, раз понадобятся такие

перевозки, наверняка будут построены лучшие, более экономичные ракеты. Но уже одно то, что людям есть куда податься, — пускай в самые трудные условия, зато чтоб была свобода и возможность действовать; уже от одного этого и те, кто останется дома, почувствуют себя совсем иначе. На худой конец, если уж земная цивилизация разваливается, лучшие люди будут на Венере, они сохранят и разовьют все, что было за Земле хорошего, отбросят и забудут все плохое. Человечество сможет начать все сначала, понимаете?

— Слов нет, теория приятная, — медленно произнес Джевонс. — Но что до Венеры… Нет, не верю я, что постоянная колония может чего-то достичь, когда колонисты вынуждены жить на плотах сложной конструкции и не смеют высунуть нос наружу без маски.

— Ну, конечно, — подтвердил Дикстра. — Потому я и говорю — техническая задача. Превратить Венеру во вторую землю.

— Погодите! — крикнул Хоуторн и вскочил.

Никто и не поглядел в его сторону. Для всех сейчас существовал только смуглый темноволосый голландец с его пророчествами. Хоуторн стиснул руки и сверхчеловеческим усилием, напрягая каждую мышцу, заставил себя сесть.

Сквозь облако табачного дыма Дикстра сказал:

— Известно вам строение этой планеты? Ее масса только-только перевалила за точку Игрек…

Даже и тут Мак-Клелан не стерпел:

— Нет, мне неизвестно. Что за точка такая?

Но это сорвалось у него непроизвольно и осталось без ответа. Дикстра смотрел на Джевонса; тот кивнул. И геофизик торопливо стал объяснять:

— Так вот, когда кривая «масса — давление» вдруг падает, это показатель неоднозначный. В центре планеты с такой массой, как у Венеры, может существовать троякое давление. Одно, какое сейчас налицо, соответствует малому ядру сравнительно невысокой плотности при мантии большего объема, состоящей из горных пород. Но возможен ведь и случай более высокого давления, когда у планеты большое переродившееся ядро, а соответственно больше общая плотность и меньше радиус. С другой стороны, в точке Игрек возможен и случай еще более низкого давления в центре. Тогда мы получаем планету без настоящего ядра, состоящую, наподобие Марса, из перемежающихся слоев горных пород и магмы. Так вот, это двусмысленное состояние неустойчиво. Существующее сейчас небольшое ядро может перейти в иную фазу. Это положение неприменимо ни к Земле — ее масса слишком велика, ни к

Марсу, у которого масса недостаточна. Но у Венеры она очень близка к критической точке. Если нижний слой мантии спадет, ядро станет больше, общий радиус планеты — меньше, а высвобождаемая энергия проявит себя в сотрясениях и, в последнем счете, — в разогреве.

Дикстра чуть помолчал, будто хотел, чтобы следующие слова его прозвучали еще весомей.

— С другой стороны, если уже разрушенные атомы нынешнего малого ядра возвратить к уровню более высокой энергии, к поверхности двинутся волны разрушительных колебаний, произойдет взрыв поистине астрономических масштабов, и, когда все снова успокоится, Венера станет больше, чем теперь, но менее плотной — планетой без ядра!

— Постой, приятель! — сказал Мак-Клелан. — Так что же, по-твоему, этот чертов мячик того и гляди взорвется у нас под ногами?

— Нет, нет, — сказал Дикстра спокойнее. — При теперешней температуре масса Венеры несколько выше критической. Ее ядро сейчас во вполне устойчивом состоянии, и на этот счет можно не волноваться еще миллиард лет. Притом если температура и возрастет настолько, чтобы вызвать расширение, оно не будет таким бурным, как полагал Рэмси, потому что масса Венеры все-таки больше установленной им для точки Игрек. Взрыв не выбросит значительного количества материи в пространство. Но разумеется, он поднимет на поверхность океана материки.

— Ого! — Джевонс вскочил. (Хоуторн словно проваливался в гнетущий кошмар. За стенами усиливался ветер, океан кипел: шторм надвигался ближе.) — Так, значит, по-вашему… радиус планеты увеличивается, резче обозначаются неровности коры…

— И на поверхность выносятся более легкие горные породы, — докончил Дикстра и кивнул. — Вот, все это у меня рассчитано. Я даже могу предсказать, какова примерно получится площадь суши — почти равная земной. Вновь поднятые из океана горные породы станут в огромном количестве поглощать двуокись углерода, образуя углекислые соли. И в то же время для фотосинтеза можно все засеять специально выведенными видами земной растительности — вроде хлореллы и прочего, чем мы сейчас поддерживаем воздух на межпланетных кораблях.

Все это буйно пойдет в рост, высвобождая кислород, и довольно скоро будет достигнуто необходимое соотношение. Я вам покажу, что состав атмосферы можно установить точно такой, как сейчас на Земле. Кислород образует слой озона, он преградит доступ ультрафиолетовым лучам, — сейчас, конечно, уровень облучения убийственный. И в конце концов — еще одна Земля!

Разумеется, более теплая, с более мягким климатом — для человека нигде не будет чересчур жарко, — все еще окутанная облаками, потому что ближе к солнцу, но все равно: Вторая Земля!

Хоуторн встряхнулся, пытаясь собраться с силами, — ему казалось, он выжат, как лимон. И подумал тупо: один веский практический вывод против — и все это кончится, и тогда можно будет проснуться.

— Постой-ка, — сказал он каким-то чужим голосом. — Это блестящая мысль, но все процессы, о которых ты говоришь… ну, в общем, материки, наверно, можно поднять за сколько-то часов или дней, но изменить атмосферу — на это уйдут миллионы лет. Слишком долго, чтобы люди могли этим воспользоваться.

— Ничуть не бывало, — возразил Дикстра. — В этом я тоже разобрался. Существуют катализаторы. Притом выращивать микроорганизмы в благоприятных условиях, когда у них нет никаких естественных врагов, проще простого. Я рассчитал: даже не изобретая ничего нового, пользуясь только той техникой, которая уже создана, мы за пятьдесят лет приведем Венеру в такой вид, чтоб человек мог преспокойно разгуливать по ней нагишом.

А если мы захотим вложить в это больше труда, денег, больше научно-исследовательской работы, это можно проделать еще быстрей. Ну, конечно, придется попотеть над плодородием почвы, удобрять, сажать, медленно и мучительно устанавливать экологию Но опять-таки лиха беда начало. Первые поселенцы устроят для себя на Венере оазисы площадью в несколько квадратных миль, а уж потом на досуге их можно расширять сколько душе угодно. Можно вывести специальные виды растений и возделывать даже первозданную пустыню.

В океане, понятно, жизнь будет развиваться куда быстрей и без помощи человека. Так что скоро венериане смогут заняться рыбной ловлей, разводить всякие водоросли и тюленей. Развитие планеты пойдет даже быстрей, чем будет расти ее население, я вам это докажу с цифрами в руках! Первопоселенцам есть на что надеяться — их внуки станут богачами!

Хоуторн выпрямился на стуле.

— Тут уже есть венериане, — пробормотал он.

Его никто не услышал.

— Обождите-ка, — вмешался Мак-Клелан. — Первым делом растолкуйте мне, как вы взорвете этот шарик?

— Да разве непонятно? — удивился Дикстра. — Возросшая температура ядра даст энергию, чтоб привести еще сколько-то тонн материи в более высокое квантовое состояние. Тем самым

давление снизится достаточно, чтобы дать толчок всему остальному. Довольно было бы взорвать одну хорошую водородную бомбу в самой сердцевине планеты — и готово! К сожалению, туда не доберешься. Придется пробурить на дне океана несколько тысяч скважин и устроить во всех одновременно солидный ядерный взрыв. И это никакая не хитрость. Радиоактивных осадков выпадет ничтожно мало, а то, что попадет в атмосферу, за несколько лет рассеется. Атомных бомб у нас хватит. Честно говоря, их уже наготовлено куда больше, чем тут потребуется. И право же, куда лучше использовать их таким образом, чем копить и копить, чтобы потом уничтожить одним махом все человечество.

— А кто даст деньги? — неожиданно спросил Чентун.

— Любое правительство, у которого хватит ума заглянуть вперед, если уж правительства на Земле не сумеют для этого объединиться Да не все ли равно! Государства и политические режимы преходящи, нации вымирают, культуры исчезают бесследно. Но человечество должно выжить — вот что мне важно! Обойдется вся эта операция не так дорого, не дороже, чем стоит один военный спутник, а выгоды, даже выраженные в самых грубых приблизительных цифрах, огромны. Прикиньте, сколько тут можно добывать урана и других материалов, которые на Земле почти истощились?

Дикстра обернулся к прозрачной стене. Буря уже надвинулась на Станцию. Под кессонами дыбились волны, ярились, разбивались светящейся пеной. Мощные неотвратимые удары сотрясали сталь и бетон, словно некий исполин, играя каждым мускулом, поводил могучими плечами. На палубу шквал за шквалом обрушивался ливень. Непрестанные вспышки молний отражались на худом лице Дикстры; перекатывался гром.

— Новая планета, — прошептал он.

Хоуторн снова встал. Подался вперед, уперся кончиками пальцев в стол. Пальцы окоченели. Собственный голос опять казался ему чужим.

— Нет, — сказал он. — Это невозможно.

— А? — Дикстра обернулся, словно бы неохотно отрываясь от созерцания бури. — Что такое, Нат?

— Ты убьешь планету, на которой есть своя жизнь, — сказал Хоуторн.

— Ну… верно, — согласился Дикстра. — Да. Впрочем, вполне гуманно. Первая же взрывная волна уничтожит все живые организмы, они просто не успеют ничего почувствовать.

— Но это убийство! — крикнул Хоуторн.

— Да брось ты, — сказал Дикстра. — К чему излишняя

чувствительность? Согласен, жаль погубить такую интересную форму жизни, но когда дети голодают и один народ за другим попадает во власть деспотизма…

Он пожал плечами и улыбнулся.

Джевонс все еще сидел, поглаживая худой рукой свою книгу, будто хотел пробудить к жизни друга, умершего пять веков назад. В лице его была тревога.

— Все это слишком внезапно, Вим, — сказал он. — Дайте нам время переварить вашу идею.

— О, времени хватит, впереди не год и не два! — Дикстра рассмеялся. — Пока еще мой доклад дойдет до Земли, пока его напечатают, обсудят, предадут широкой гласности, пока будут переругиваться и ломать копья… да потом еще снарядят солидные ученые экспедиции, и они проделают всю мою работу сызнова и станут цепляться по пустякам, и… не бойтесь, по меньшей мере десять лет ничего путного нельзя будет начать. А вот потом мы, вся Станция, с нашим опытом, будем совершенно необходимы для этого дела.

— Ух, ты! — сказал Мак-Клелан, легкомысленным тоном прикрывая волнение. — Четвертого июля будет мне праздник: вы подпалите эту планету, а я буду любоваться фейерверком.

— Не знаю… — Джевонс невидящим взглядом смотрел прямо перед собой. — Тут еще вопрос — благоразумия, осторожности — назовите как угодно. Венера — такая, как она есть, — может нас многому научить. Столько нового, неизвестного… хватит на тысячу лет. А вдруг мы приобретем два-три континента, зато никогда не поймем секрета жизни или не найдем ключа к бессмертию (если к нему стоит стремиться) или к каким-то философским открытиям. — Не слишком ли дорогая цена за новые материки? Не знаю…

— Ну, тут можно спорить, — согласился Дикстра. — Так пусть спорит все человечество.

Джимми Чентун улыбнулся Хоуторну.

— По-моему, капитан прав. И я понимаю, вы как ученый и не можете думать иначе. Несправедливо отнимать у вас дело всей вашей жизни. Я, конечно, буду стоять за то, чтобы подождать, по крайней мере, сто лет.

— Пожалуй, это многовато, — возразил Дикстра. — Если не открыть какой-то предохранительный клапан, вполне возможно, что земная цивилизация, основанная на технике, столько не протянет.

— Вы ничего не понимаете! — выкрикнул Хоуторн.

Он стоял и смотрел им в глаза. Но свет падал на лицо Дикстры так, что глаза отсвечивали, точно бельма: не лицо, а

череп со слепыми белыми пятнами вместо глаз. Хоуторну казалось — он обращается к глухим. Или к мертвецам.

— Вы ничего не понимаете! — повторил он. — Я хлопочу не о своей работе и не о науке, ничего похожего. Это же прямое, бессовестное убийство. Убить целый разумный народ! А если на Землю нагрянут какие-нибудь жители Юпитера и вздумают переделать нашу атмосферу на водородную? Как вам это понравится? Нет, мы просто чудовища, только чудовища могут задумать такое!

— Ох, увольте! — пробормотал Мак-Клелан. — Снова здорово. Лекция номер двадцать восемь бис. Я уж наслушался, пока летели сюда с Земли, мне все уши прожужжали.

— Извините, — заметил Чентун, — но это очень важный вопрос.

— С дельфоидами и в самом деле все это непросто, — согласился Джевонс. — Впрочем, мне кажется, ни один ученый никогда не высказывался против вивисекции даже в отношении наших ближайших родичей обезьян, если это делалось во имя человечества.

— Дельфоиды — не обезьяны! — побелевшими губами сказал Хоуторн. — Они больше люди, чем вы.

— Одну минуту, — вмешался Дикстра. Он оторвался от созерцания молний и подошел к Хоуторну. Радость победы в его лице померкла, оно стало серьезное, озабоченное. — Я понимаю, Нат, у тебя сложилось свое мнение на этот счет. Но в сущности, у тебя же нет доказательств…

— Нет, есть! — выдохнул Хоуторн. — Все-таки я их получил. Весь день я не знал, с чего начать, но теперь я вам скажу!

И меж раскатами грома он наконец нашел слова для того, что показал ему Оскар.

Постепенно даже ветер будто притих, и какое-то время слышался только говор дождя да ропот волн далеко внизу. Мак-Клелан опустил глаза и уставился на игральные кости, которые машинально вертел и вертел в пальцах. Чентун потирал подбородок и улыбался невесело. Зато Джевонс был теперь невозмутимо спокоен и решителен. Прочесть что-либо по лицу Дикстры было трудней, выражение его поминутно менялось. Наконец он принялся деловито раскуривать новую сигарету.

Молчание стало нестерпимым.

— Так как же? — надтреснутым голосом выговорил Хоуторн.

— Безусловно, это еще больше осложняет дело, — сказал Чентун.

— Это ничего не доказывает, — отрезал Дикстра. — Посмотрите, что строят за Земле пчелы да птицы-беседочницы.

— Э-э, Вим, ты поосторожней! — сказал Мак-Клелан. — Не вздумай уверять, что мы и сами просто зазнавшиеся муравьи.

— Вот именно, — сказал Хоуторн. — Завтра возьмем субмарину, к я вам это покажу, а может быть Оскар сам нас поведет. Прибавьте это открытие ко всем прежним намекам и догадкам — и, черт подери, попробуйте после этого отрицать, что дельфоиды разумны! Они мыслят не совсем так, как мы, но уж никак не хуже!

— И, вне всякого сомнения, могут нас многому научить, — сказал Чентун. — Вспомните, как много переняли друг от друга мой народ и ваш, а мы ведь все — один и тот же род человеческий.

Джевонс кивнул.

— Жаль, что вы не рассказали мне все это раньше, Нат. Тогда, конечно, не было бы этого спора.

— Ну, ладно, — вздохнул Мак-Клелан. — Придется мне четвертого июля запалить самые обыкновенные шутихи!

Косой дождь хлестал в стену. Еще вспыхивали иссиня-белые молнии, но гром уже откатывался дальше. Океан сверкал языками холодного пламени.

Хоуторн посмотрел на Дикстру. Голландец был весь как натянутая струна. И у Хоуторна, которого было чуть отпустило, тоже вновь напрягся каждый нерв.

— Итак, Вим? — сказал он.

— Да-да, конечно! — отозвался Дикстра. Он побледнел. Выронил изо рта сигарету и даже не заметил. — Не то чтобы ты меня окончательно убедил, но, наверное, это просто потому, что уж очень горько разочарование. Нет, риск совершить геноцид слишком велик, на это идти нельзя.

— Умница, — улыбнулся Джевонс.

Дикстра стукнул кулаком по ладони.

— Ну а мой доклад? Что мне с ним делать?

В его голосе прозвучала такая боль, что Хоуторн был потрясен, хоть и ждал этого вопроса.

Мак-Клелан спросил испуганно:

— Но ведь твое открытие хуже не стало?!

И тогда Чентун высказал вслух то, о чем с ужасом думал каждый:

— Боюсь, доклад посылать не придется, доктор Дикстра. Как это ни прискорбно, нашим сородичам нельзя доверить такие сведения.

Джевонс прикусил губу.

— Мне очень не хотелось бы так думать. Мы не истребим расчетливо и хладнокровно миллиард с лишком жизней ради…

ради своего удобства.

— В прошлом мы не раз и не два поступали именно так, — угасшим голосом произнес Дикстра.

«Я прочитал достаточно книг по истории, Вим, и у меня на этот счет особое мнение, — подумал Хоуторн. И стал считать, загибая пальцы: — Троя, Иерихон, Карфаген, Иерусалим, альбигойцы, Бухенвальд. Хватит!» — подумал он, его замутило.

— Но ведь… — начал Джевонс. — Уж конечно, в наши дни…

— В лучшем случае соображения человечности удержат Землю лет на десять, на двадцать, — сказал Дикстра. — А потом она наверняка нанесет удар. Жестокость и озверение распространяются с такой быстротой, что и на двадцать лет надежды мало, но допустим. Ну а дальше? Сто лет, тысячу — сколько времени мы устоим, когда перед нами такой соблазн, а мы все больше задыхаемся в нищете? Едва ли мы сможем вечно бороться с таким искушением.

— Коли дойдет до выбора — завладеть Венерой или смотреть, как пропадает человечество, скажу по-честному, — тем хуже для Венеры, — заявил Мак-Клелан. — У меня жена и детишки.

— Тогда скажи спасибо, что мы до этого не доживем, выбирать придется нашим детям, — сказал Чентун.

Джевонс кивнул. Он словно разом постарел, теперь это был человек, чей путь близится к концу.

— Вам придется уничтожить доклад, Вим, — сказал он. — Совсем. И никто из нас никогда ни словом о нем не обмолвится.

Хоуторн готов был разреветься, но не мог. Какая-то преграда росла внутри, невидимая рука взяла за горло.

Дикстра медленно перевел дух.

— По счастью, я все время держал язык за зубами, — выговорил он. — Никому и полслова не сказал. Хоть бы только меня не уволили, еще решат — лодырь, столько месяцев там торчит, а толку ни на грош.

— Уж об этом я позабочусь, Вим, — промолвил Джевонс. В шуме дождя голос его прозвучал бесконечно мягко и ласково.

Руки Дикстры заметно дрожали, но он оторвал первый лист своей работы, скомкал, бросил в пепельницу и поджег.

Хоуторн сломя голову бросился вон из комнаты.

Снаружи — по крайней мере после дневной жары — было прохладно. Буря пронеслась, моросил дождь, он брызнул на обнаженную кожу. Когда солнца не было, Хоуторн обходился шортами да кислородной маской. От этого возникало странное ощущение легкости, как будто опять стал мальчишкой и бродишь летом по лесу. Но те леса уже давно вырублены. Падая на палубу

Станции и на воду, дождь звучал совсем по-разному, но обе ноты были на удивление чисты и звонки.

А океан еще не утих, вода со свистом и грохотом била о кессоны, завивалась черными воронками. В воздухе слабо сквозило северное сияние, от него небо чуть подернулось розовой дымкой. Но когда Нат Хоуторн отошел подальше от освещенных окон, больше всего света стало от океана: крутые валы излучали зеленое сияние и, рассыпаясь пеной, вспыхивали белизной. Там и сям воду словно вспарывал черный нож — на миг возникал из глубин какой-нибудь океанский житель.

Хоуторн прошел мимо пулемета к торговому причалу. Тяжелые волны перекатывались тут, доходя ему до колен, и обдавали его зеленоватыми искрящимися брызгами. Он ухватился за поручень и напряженно вглядывался в завесу дождя: хоть бы приплыл Оскар!

— Хуже всего, что у наших-то намерения самые что ни на есть благие, — сказал он вслух.

Над головой пролетело что-то живое: тень, шелест крыльев.

— Врет эта пословица, — пробормотал он. И вцепился в поручень, хотя можно бы, пожалуй, надеяться, что его смоет волной… когда-нибудь венериане разыщут на дне его кости и доставят на Станцию… и не возьмут за это платы.

— Кто будет сторожить сторожей? Очень просто: сами же сторожа, ибо что проку от сторожей бесчестных. Но вот как быть с тем, что сторожишь? Оно само — на стороне врага. Вим и капитан Джевонс, Джимми Чентун и Малыш… и я. Мы-то можем сохранить тайну. А природа не может. Рано или поздно кто-нибудь проделает ту же работу. Мы надеемся, что Станция будет расширена. Тогда здесь появятся и еще геофизики и… и… Оскар! Оскар! Где тебя носила нелегкая, черт возьми!

Океан ответил, но на языке, Хоуторну незнакомом.

Его трясло, зуб на зуб не попадал. Никакого смысла тут околачиваться. Совершенно ясно, что надо делать. И если сперва поглядеть на безобразную добродушную морду Оскара, еще вопрос, легче ли потом будет сделать это. Возможно, станет куда трудней. А пожалуй, и вовсе невмочь.

«Может быть, поглядев на Оскара, я соберусь с мыслями, — подумал Хоуторн, чувствуя, как в мозгу отдается эхо громов с высот Синая. — Я не могу. Еще не могу. Боже правый, ну почему я такой фанатик? Подождал бы, пока все это предадут гласности и начнут обсуждать, заявил бы особое мнение, как пристало всякому порядочному борцу за справедливость, организовал бы парламентские группы нажима, воевал бы как положено, по всем правилам и законам. А может быть, секрет не раскроется до конца

моей жизни — и какое мне дело, что будет после? Я-то этого уже не увижу. Нет. Этого мало. Мне нужна уверенность. Не в том, что восторжествует справедливость — это невозможно, но что не совершится несправедливость. Потому что я одержимый. Никто, ни один человек не в силах все предусмотреть, — думал он в ту дождливую, ветреную ночь. — Но можно сделать расчеты и соответственно действовать. Голова стала ясная, мысль работает быстро и четко — теперь обдумаем, что нам известно.

Если Станция перестанет приносить доход, люди больше сюда не полетят. Во всяком случае, полетят очень не скоро, а тем временем мало ли что может случиться… Венериане смогут подготовиться к самозащите, или даже, чем черт не шутит, человечество научится держать себя в руках. Быть может, люди никогда не вернутся. Возможно, цивилизация, основанная на технике, рухнет и уже не возродится. Пожалуй, так будет лучше всего, каждая планета сама по себе, каждая сама определит свою судьбу. Но это все рассуждения. Пора заняться фактами.

Пункт первый: если Станция „Венера“ сохранится, а тем более, что очень возможно, будет расширена, кто-нибудь наверняка повторит открытие Дикстры. Если нашелся один человек, который после нескольких лет любопытства и поисков разгадал секрет, то уж конечно не позже чем через десять лет кто-то другой или двое, трое сразу ощупью придут к той же истине.

Пункт второй: Станция сейчас экономически зависит от добровольной помощи дельфоидов.

Пункт третий: если Станция будет разрушена и Компании доложат, что разрушили ее враждебные людям дельфоиды, очень мало вероятно, чтобы Компания стала ее восстанавливать.

Пункт четвертый: даже если бы такую попытку и сделали, от нее очень скоро вновь откажутся при условии, что дельфоиды и впрямь станут избегать людей.

Пункт пятый: в этом случае Венеру оставят в покое.

Пункт шестой: если верить в бога, в грех и прочее, во что он, Хоуторн, не верит, можно бы доказать, что человечеству это будет только на благо, ибо оно не отягчит совесть свою бременем гнуснейшего деяния, которому равного не видано со дня некоего события на Голгофе.

Беда в том, что на человечество мне в общем-то наплевать. Главное — спасти Оскара. А быть может, оттого и начинаешь так горячо любить чужой народ, что втайне возненавидел свой?

Наверно, все-таки можно как-нибудь убежать от этого кошмара. Но у человека нет ластов, и он не может дышать без кислорода, человеку остается лишь один путь — назад, через Станцию».

Он поспешно пошел по безмолвному, ярко освещенному коридору к трапу, ведущему глубоко вниз, в самые недра Станции. Вокруг ни души. Словно весь мир обратился в прах, и он — последний из живых.

Он вошел в кладовую — и отшатнулся, как от удара: тут кто-то был. Призраки, тени… какое право имеет тень того, кто еще не умер, явиться здесь в такую минуту?

Человек обернулся. Это был Крис Дил, биохимик.

— Это ты, Нат? — удивился он. — Что ты тут делаешь в такое время?

Хоуторн облизнул пересохшие губы. Обычный воздух, такой же, каким дышишь на Земле, обжигал и душил.

— Мне нужен инструмент, — сказал он. — Дрель, вот что… Небольшая электрическая дрель.

— Бери, сделай милость, — разрешил Дил.

Хоуторн достал дрель со стеллажа. Руки так затряслись, что он ее тут же выронил. Дил удивленно посмотрел на него.

— Что случилось, Нат? — мягко спросил он. — Какой-то у тебя кислый вид.

— Нет, ничего, — еле слышно ответил Хоуторн. — Все в порядке.

Он подобрал дрель и вышел.

Арсенал, всегда запертый, помещался глубоко в трюме Станции. Хоуторн ощущал, как под ногами, под днищем корпуса, вздымается океан Венеры. Это придало ему силы, он дрелью вскрыл замок, вошел в арсенал, взломал ящики с взрывчаткой и приладил запал. Но потом никак не мог вспомнить, как он установил дистанционный взрыватель на срок. Знал только, что сделал и это.

Затем какой-то провал — он не помнил, как очутился в помещении, где хранились лодки, и вот он стоит здесь и грузит в маленькую субмарину океанографические глубинные бомбы. И опять вокруг ни души. Некому спросить, что он тут делает. Чего опасаться его братьям со Станции «Венера»?

Хоуторн скользнул в субмарину и через шлюз вывел ее в океан. Спустя несколько минут его тряхнуло. Взрыв был не очень силен, но отдался во всем существе Хоуторна таким громом, что он, оглушенный, не заметил, как пошла ко дну Станция «Венера». Лишь потом он увидел, что от нее ничего не осталось. Над тем местом кружил сверкающий фейерверком водоворот, среди пены и брызг крутились, подскакивали какие-то обломки.

Он определился по компасу и пошел на погружение. Вскоре перед ним засветился кораллитовый город. Долгие минуты он смотрел на чудесную гармонию шпилей и гротов, потом

ужаснулся: вдруг не хватит сил сделать то, что нужно… И он поспешно сбросил бомбы и ощутил, как содрогнулось его суденышко, и увидел, как храм обратился в развалины.

А потом он всплыл на поверхность. Он вышел на палубу субмарины и всей кожей ощутил прохладу дождя. Вокруг собирались дельфоиды. Он не мог их разглядеть, лишь урывками мелькали то ласт, то спина, зеленоватой вспышкой разрезая огромные волны, да один раз у низких поручней вынырнула голова — в этом неверном фосфорическом свете у дельфоида было почти человеческое лицо, лицо ребенка.

Хоуторн припал к пулемету и закричал, но они не могли понять, да и ветер рвал его слова в клочки.

— Я не могу иначе! — кричал он. — Поймите, у меня нет выбора! Как же еще объяснить вам, каково мое племя, когда его одолеет жадность? Как заставить вас избегать людей? А вы должны нас избегать, иначе вам не жить! Вы погибнете — можете вы это понять? Да нет, где вам понять, откуда. Вы должны научиться у нас ненависти, ведь сами вы ненавидеть не умеете…

И он дал очередь по теснящимся перед ним, застигнутым врасплох дельфоидам.

Пулемет неистовствовал еще долго, даже когда вблизи не осталось ни одного живого венерианина. Хоуторн стрелял, пока не кончились патроны. Тут только он опомнился. Голова была спокойная и очень ясная, будто после яростного приступа лихорадки. Такую ясность он знавал в детстве, мальчишкой — проснешься, бывало, ранним летним утром, и косые солнечные лучи весело врываются в окно, в глаза… Он вернулся в рубку и спокойно, взвешивая каждое слово, вызвал по радио орбитальный корабль.

— Да, капитан, это дельфоиды, тут не может быть ни тени сомнения. Не знаю, как они это проделали. Возможно, разрядили какие-то наши бомбозонды — притащили их назад к Станции и тут взорвали. Так или иначе. Станция уничтожена. Я спасся на субмарине. Видел мельком еще двух человек в открытой лодке, хотел их подобрать, но не успел — на них напали дельфоиды. Прямо у меня на глазах проломили лодку и убили людей… Да нет же, просто ума не приложу почему! Не все ли равно почему да отчего! Мне лишь бы ноги отсюда унести.

Услыхав, что скоро за ним придет рейсовый бот, он включил автосигнал локации и без сил растянулся на койке. «Вот и конец, — подумал он благодарно и устало. — Никогда ни один человек не узнает правды. А быть может, когда-нибудь он и сам ее забудет».

Рейсовый бот приводнился на рассвете, небо уже отливало

перламутром. Хоуторн вышел на палубу субмарины. У самого борта покачивались на волнах десятка полтора мертвых венериан. Видеть их не хотелось, но они были тут, рядом, — и вдруг он узнал Оскара.

Невидящими глазами Оскар изумленно смотрел в небо. Какие-то крохотные рачки пожирали его, разрывая клешнями. Кровь у него была зеленая.

— О, Господи! — взмолился Хоуторн. — Хоть бы ты существовал! Хоть бы создал для меня ад!

Джеймс Блиш
День Статистика

Уиберг четырнадцать лет проработал за границей специальным корреспондентом «Нью-Йорк Таймс», из них десять посвятил еще и другой, совсем особой профессии и в разное время провел в общей сложности восемнадцать недель в Англии. (В подсчетах он, естественно, был весьма точен.) Вот почему жилище Эдмунда Джерарда Дарлинга сильно его удивило.

Служба Контроля над народонаселением была учреждена ровно десять лет назад, после страшного, охватившего весь мир голода 1980 года, и с тех пор Англия почти не изменилась. Выезжая по автостраде номер четыре из Лондона, Уиберг вновь увидал небоскребы, выросшие на месте Зеленого пояса, которым некогда обведен был город, — под такими же каменными громадами бесследно исчезли округ Уэстчестер в штате Нью-Йорк, Арлингтон в Вирджинии, Ивенстон в Иллинойсе, Беркли в Калифорнии. Позднее таких махин почти не возводили, в этом больше не было нужды, раз численность населения не возрастала, однако построили их на скорую руку, и потому многие через некоторое время придется заменять новыми.

Городок Мейденхед, где численность населения остановилась на отметке 20 000, с виду тоже ничуть не переменился с тех пор, как Уиберг проезжал его в последний раз, направляясь в Оксфорд. (Тогда он наносил подобный визит специалисту по эрозии берегов Чарлзу Чарлстону Шеклтону, тот был отчасти еще и писатель.) Однако на этот раз у Мейденхед Тикет надо было свернуть с автострады, и неожиданно Уиберг оказался в самой настоящей сельской местности, он и не подозревал, что еще сохранилось такое, да не где-нибудь, а между Лондоном и Рединг ом!

Добрых пять миль он пробирался узеньким проселком — еле-еле впору проехать одной машине, сверху сплошь нависли ветви деревьев — и выехал на круглый, тоже обсаженный деревьями крохотный пятачок, который, кажется, переплюнул бы ребенок, не возвышайся посередине десятифутовая замшелая колонна-памятник павшим в первой мировой войне. По другую сторону ютилась деревня Шерлак Роу, куда он направлялся, там, похоже, всего-то было — церквушка, пивная да с полдюжины лавчонок. Должно быть, неподалеку имелся еще и пруд: откуда-то слабо доносилось утиное кряканье.

«Файтл», обитель романиста, тоже стояла на Хай-стрит,

видимо единственной здешней улице. Большой двухэтажный дом, крыша соломенная, стены выбелены, дубовые балки когда-то были выкрашены в черный цвет. Солому совсем недавно сменили, поверх нее для защиты от птиц натянута проволочная сетка; в остальном вид у дома такой, словно его строили примерно в шестнадцатом веке, да так оно, вероятно, и есть.

Уиберг поставил свою старую машину в сторонке и нашарил в кармане куртки заготовленный агентством «Ассошиэйтед пресс» некролог, бумага чуть слышно, успокоительно зашуршала под рукой. Вынимать ее незачем, он уже выучил некролог наизусть. Именно эти гранки, доставленные почтой неделю назад, и заставили его пуститься в путь. Некролог должен появиться почти через год, но в печати уже сообщалось, что Дарлинг болен, а это всегда неплохой предлог — в сущности, им пользуешься чаще всего.

Он вылез из машины, подошел к огромной, точно у сарая, парадной двери и постучал; открыла чистенькая, пухленькая, румяная девушка, судя по платью горничная. Он назвал себя.

— Да-да, мистер Уиберг, сэр Эдмунд вас дожидается, — сказала она, и по выговору он сразу узнал ирландку. — Может, хотите обождать в саду?

— С удовольствием.

Очевидно, эта девушка служит совсем недавно, ведь знаменитый писатель не просто дворянин, но награжден орденом «За заслуги», а значит, его надо величать куда торжественней; впрочем, по слухам, Дарлинг равнодушен к таким пустякам и уж наверно даже не подумал бы поправлять горничную.

Она провела гостя через просторную столовую, где дубовые балки потолка низко нависали над головой, а очаг сложен был из самодельного кирпича, отворила стеклянную дверь в глубине, и Уиберг оказался в саду. Сад размером примерно в пол-акра — розы, еще какие-то цветущие кусты, их огибают посыпанные песком дорожки, тут же несколько старых яблонь и груш и даже одна смоковница. Часть земли отведена под огород, в уголке под навесом высажены какие-то растеньица в горшках; от дороги и от соседей все это заслоняют плетень из ивовых прутьев и живая изгородь — стена вечнозеленого кустарника.

Но любопытней всего показался Уибергу кирпичный флигелек в глубине сада, предназначенный для гостей или, может быть, для прислуги. В некрологе сказано, что тут есть отдельная ванная (или туалетная, как до сих пор деликатно выражаются англичане из средних слоев); в этой-то пристройке Дарлинг писал свои книги в пору, когда с ним еще жила семья. Вначале у домика была островерхая черепичная крыша, но ее

давно почти всю разобрали, чтобы оборудовать знаменитую маленькую обсерваторию.

«Здешние края не слишком подходили для астрономических наблюдений, даже когда самого Дарлинга еще и на свете не было, — думал Уиберг, — а впрочем, наверно, Дарлинга это мало трогало. Он любитель наук (однажды назвал их „лучшим в мире спортом для созерцателей“) и свою обсерваторию построил не для настоящих изысканий — просто ему нравится смотреть на небо».

Уиберг заглянул в окно, но внутри не осталось и следа былых занятий владельца; видно, теперь этим домиком пользуется только горничная. Уиберг вздохнул. Он был человек не слишком чувствительный — просто не мог себе этого позволить, — но порой его и самого угнетала его профессия.

Он опять пошел бродить по саду, нюхал розы и желтофиоли. В Америке он желтофиолей никогда не видал; какой у них пряный, экзотический аромат… так пахнет цветущий табак, а может быть (вдруг подсказало воображение), травы, которыми пользовались для бальзамирования в Древнем Египте.

Потом его позвала горничная. Опять провела через столовую и дальше, по длинной и просторной, сворачивающей под прямым углом галерее с камином из шлифованного камня и стеной, сплошь уставленной книжными полками, к лестнице. На втором этаже помещалась спальня хозяина дома. Уиберг шагнул к двери.

— Осторожно, сэр! Голову! — крикнула девушка, но опоздала, он не успел нагнуться и ушиб макушку. В комнате раздался смешок.

— Вам не первому досталось, — произнес мужской голос. — Если несешь сюда кой-что за пазухой, лучше поостеречься, черт подери. Ударился Уиберг не сильно и тотчас про это забыл.

Эдмунд Джерард Дарлинг в теплом клетчатом халате, опираясь на гору подушек, полусидел в огромной кровати — на пуховой перине, судя по тому, как глубоко утонуло в ней худое, слабое тело. Все еще внушительная грива волос, хоть они и поредели надо лбом по сравнению с последней фотографией, что красуется на суперобложках, и все те же очки — стекла без оправы, золотые дужки. Лицо его, лицо старого патриция, наперекор болезни, чуть пополнело, черты отяжелели, появилось в них что-то от доброго дядюшки — странно видеть это выражение у человека, который почти шестьдесят лет кряду в критических статьях немилосердно бичевал своих собратьев за невежество, за незнание самых основ родной литературы, не говоря уже о литературе мировой.

— Для меня большая честь и удовольствие видеть вас, сэр, —

сказал Уиберг, доставая записную книжку.

— Жаль, что не могу отплатить такой же любезностью, — отозвался Дарлинг и указал гостю на глубокое кресло. — Впрочем, я давно уже вас поджидаю. В сущности, мысли мои занимает только один последний вопрос, и я был бы весьма признателен вам за прямой и честный ответ… разумеется, если вам позволено отвечать.

— Ну конечно, сэр, к вашим услугам. В конце концов, я ведь тоже пришел задавать вопросы. Спрашивайте.

— Кто вы? — спросил писатель. — Только предвестник палача или палач собственной персоной?

Уиберг смущенно, через силу усмехнулся.

— Право, я вас не понимаю сэр.

Но он прекрасно понял. Непонятно было другое: откуда у Дарлинга сведения, которые помогли додуматься до такого вопроса? Все десять лет важнейший секрет Службы Контроля охранялся самым тщательным образом.

— Если вы не желаете отвечать на мой вопрос, так и мне на ваши отвечать необязательно, — заметил Дарлинг. — Но не станете же вы отрицать, что у вас в кармане лежит мой некролог?

Обычное подозрение, Уибергу не раз приходилось с ним сталкиваться, и проще простого было ответить словно бы прямо и чистосердечно.

— Да, правда. Но ведь вы, конечно, знаете, что у «Таймс», да и у каждой большой газеты и крупного агентства печати заготовлены некрологи на случай несчастья с любым выдающимся деятелем, с любой знаменитостью. Естественно, время от времени наши сведения приходится подновлять; и, естественно, каждый репортер, когда его посылают брать у кого-нибудь интервью, для справок в них заглядывает.

— Я и сам начинал как журналист, — сказал Дарлинг. — И прекрасно знаю, что большие газеты обычно поручают такую пустяковую работу новичку, молокососу, а вовсе не специальному корреспонденту за границей.

— Не всякий, у кого берут интервью, удостоен Нобелевской премии, — возразил Уиберг. — А когда нобелевскому лауреату восемьдесят лет и сообщалось, что он болен, взять у него интервью, которое может оказаться последним, — задача отнюдь не для молокососа. Если вам угодно, сэр, считать, что цель моего прихода всего лишь освежить данные некролога, я бессилен вас переубедить. Пожалуй, в моем поручении есть и нечто зловещее, но вы, конечно, прекрасно понимаете, что это в конечном счете можно сказать почти обо всякой газетной работе.

— Знаю, знаю, — проворчал Дарлинг. — Стало быть, если

вами сейчас не движет желание выставить себя в наиблагороднейшем свете, понимать надо так: уже одно то, что ко мне прислали не кого-нибудь, а вас, есть дань уважения. Верно?

— Н-ну… пожалуй, можно это определить и так, сэр, — сказал Уиберг. По правде говоря, именно так он и собирался это определить.

— Чушь.

Уиберг пожал плечами.

— Повторяю, сэр, не в моей власти вас переубедить. Но мне очень жаль, что вы так поняли мой приход.

— А я не сказал, что понимаю ваш приход так или эдак. Я сказал — чушь. То, что вы мне тут наговорили, в общем верно, но к делу не относится и должно только ввести в заблуждение. Я ждал, что вы скажете мне правду, надо полагать, я имею на это право. А вы преподносите мне явный вздор. Очевидно, вы всегда так заговариваете зубы неподатливым клиентам.

Уиберг откинулся на спинку кресла, его опасения усиливались.

— Тогда объясните, пожалуйста, сэр, что же, по-вашему, относится к делу?

— Вы этого не заслужили. Но какой смысл умалчивать о том, что вы и сами знаете, а я как раз и хочу, чтобы вы все поняли, — сказал Дарлинг. — Ладно, пока не станем выходить за рамки дел газетных.

Он пошарил в нагрудном кармане, вынул сигарету, нажал кнопку звонка на ночном столике. Тотчас появилась горничная.

— Спички, — сказал Дарлинг.

— Сэр, так ведь доктор…

— А ну его, доктора, теперь-то я уже точно знаю, когда мне помирать. Да вы не огорчайтесь, принесите-ка мне спички и по дороге затопите камин.

День был еще теплый, но Уибергу тоже почему-то приятно было смотреть, как разгорался огонек. Дарлинг затянулся сигаретой, потом одобрительно ее оглядел.

— Чепуха вся эта статистика, — сказал он. — Кстати, это имеет самое прямое отношение к делу. Видите ли, мистер Уиберг, на седьмом десятке человека обуревает интерес к траурным извещениям. Начинают умирать герои твоего детства, начинают умирать твои друзья, и незаметно пробуждается интерес к смерти людей чужих, безразличных, а потом и таких, о ком никогда не слыхал.

Пожалуй, это не слишком достойное развлечение, тут есть и немалая доля злорадства — дескать, вот он умер, а я-то еще

живой. Кто хоть сколько-нибудь склонен к самоанализу, тот, конечно, все острей ощущает, что становится день ото дня более одиноким в этом мире. И кто душевно не слишком богат, того, пожалуй, все сильнее станет пугать собственная смерть.

По счастью, среди всего прочего я уже много лет увлекаюсь разными науками, особенно математикой. Я перечитал многое множество траурных объявлений в «Нью-Йорк Таймс», в лондонской «Таймс» и других больших газетах, сперва просматривал мельком, потом начал следить за ними внимательно — и стал замечать любопытные совпадения. Улавливаете ход моей мысли?

— Как будто улавливаю, — осторожно сказал Уиберг. — Какие же совпадения?

— Я мог бы привести вам наглядные примеры, но, думаю, довольно и общей картины. Чтобы заметить такие совпадения, надо следить не только за крупными заголовками и официальными некрологами, но и за мелкими объявлениями в траурных рамках. И тогда убедишься, что в какой-то день умерло, допустим, необычайно много врачей сразу. В другой день — необычайно много юристов. И так далее.

Впервые я заметил это в день, когда разбился пассажирский самолет и погибли почти все руководители видной американской машиностроительной фирмы. Меня это поразило, ведь к тому времени в Америке стало правилом: одним и тем же рейсом могут лететь двое ведущих работников любой фирмы, но ни в коем случае не больше. Меня как осенило, я просмотрел мелкие объявления и увидел, что это был черный день для всех вообще машиностроителей. И еще одно престранное обстоятельство: почти все они погибли при разных дорожных катастрофах. Неудачное совпадение с тем злополучным самолетом, судя по всему, оказалось ключом к некоему установившемуся порядку.

Я занялся подсчетами. Обнаружил много других связей. Например, при дорожных катастрофах нередко погибали целые семьи, и в таких случаях чаще всего оказывалось, что жену соединяли с мужем не только узы брака, но и профессия.

— Любопытно… и даже попахивает мистикой, — согласился Уиберг. — Но, как вы сами сказали, это явно только совпадение. В такой малой выборке…

— Не так уж она мала, если следишь за этим двадцать лет подряд, — возразил Дарлинг. — И я теперь не верю, что тут случайные совпадения, вот только первая авиационная катастрофа случайно заставила меня присмотреться — что происходит. И вообще речь уже не о том, чему верить или не верить. Я веду точный подсчет и время от времени передаю

данные в вычислительный центр при Лондонском университете, только, понятно, не говорю программистам, к чему относятся эти цифры. Последние вычисления по критерию хи-квадрат делались как раз, когда вы телеграммой попросили меня вас принять. Я получил значимость в одну десятитысячную при доверительной вероятности 0,95. Никакие противники табака не могли с такой точностью высчитать вред курения, а ведь начиная примерно с 1950 года тысячи ослов от медицины и даже целые правительства действовали, опираясь на куда менее солидные цифры.

Попутно я занялся перепроверкой. Мне пришло в голову, что все решает возраст умирающих. Но критерий хи-квадрат показывает, что возраст тут ни при чем, с возрастом взаимосвязи совсем нет. Зато стало совершенно ясно, что люди, подлежащие смерти, подбираются на основе занятия, ремесла или профессии.

— М-м… Допустим на минуту, что ваши рассуждения верны. Как же, по-вашему, можно все это проделать?

— Как — не велика хитрость, — сказал Дарлинг. — Не может быть, чтобы все эти люди умирали естественной смертью, ведь природа, силы биологические не отбирают свои жертвы Так тщательно и не уничтожают их за такой строго определенный отрезок времени. Существенно здесь не как, а почему. А на это возможен только один-единственный ответ.

— Какой же?

— Такова политика.

— Простите, сэр, — возразил Уиберг, — но при всем моем к вам уважении должен признаться, что это… м-м… несколько отдает сумасшествием.

— Это и есть сумасшествие, еще какое, но так все и происходит, чего вы, кстати, не оспариваете. И сошел с ума не я, а те, кто ввел такую политику.

— Но что пользы в подобной политике… вернее, какую тут пользу можно себе представить?

Через очки без оправы старый писатель посмотрел на Уиберга в упор, прямо в глаза.

— Всемирная Служба Контроля над народонаселением официально существует уже десять лет, а негласно, должно быть, все двадцать, — сказал он. — И действует она успешно: численность населения держится теперь на одном и том же уровне. Почти все люди верят — им так объясняют, — что соль тут в принудительном контроле над рождаемостью. И никто не задумывается над тем, что для подлинной стабильности народонаселения требуется еще и точно предсказуемая экономика. Еще об одном люди не задумываются, и этого им уже не объясняют, больше того, сведения, которые необходимы, чтобы

прийти к такому выводу, теперь замалчиваются даже в начальной школе: при нашем нынешнем уровне знаний можно предопределить только число рождений; мы пока не умеем предопределять, кто родится. Ну, то есть, уже можно заранее определить пол ребенка, это не сложно; но не предусмотришь, родится ли архитектор, чернорабочий или просто никчемный тупица.

А между тем при полном контроле над экономикой общество в каждый данный период может позволить себе иметь лишь строго ограниченное число архитекторов, чернорабочих и тупиц. И поскольку этого нельзя достичь контролем над рождаемостью, приходится достигать этого путем контроля над смертностью. А потому, когда у вас образуется экономически невыгодный излишек, допустим, писателей, вы такой излишек устраняете. Понятно, вы стараетесь устранять самых старых; но ведь нельзя предсказать заранее, когда именно образуется подобный излишек, а потому и возраст тех, что окажутся самыми старыми к моменту удаления излишков, далеко не всегда одинаков, и тут трудно установить статистическую закономерность. Вероятно, есть еще и тактические соображения: для сокрытия истины стараются, чтобы каждая такая смерть казалась случайной, с остальными никак не связанной, а для этого, скорее всего, приходится убивать и кое-кого из молодых представителей данной профессии, а кое-кого из стариков оставить до поры, покуда сама природа с ними не расправится.

И конечно, такой порядок очень упрощает задачу историка. Если тебе известно, что при существующей системе такому-то писателю назначено умереть примерно или даже точно в такой-то день, уже не упустишь случая взять последнее интервью и освежить данные некролога. Тот же или сходный предлог — скажем, очередной визит врача, постоянно пользующего намеченную жертву, — может стать и причиной смерти.

Итак, вернемся к моему самому первому вопросу, мистер Уиберг. Кто же вы такой — ангел смерти собственной персоной или всего лишь его предвестник?

Наступило молчание, только вдруг затрещало пламя в камине. Наконец Уиберг заговорил.

— Я не могу сказать вам, основательна ли ваша догадка. Как вы справедливо заметили в начале нашей беседы, если бы догадка эта была верна, то, естественно, я не имел бы права ее подтвердить. Скажу одно: я безмерно восхищен вашей откровенностью… и не слишком ею удивлен.

Но допустим на минуту, что вы не ошибаетесь, и сделаем еще один логический шаг. Предположим, все обстоит так, как вы

говорите. Предположим далее, что вас намечено… «устранить»… к примеру, через год. И предположим, наконец, что я послан был всего лишь взять у вас последнее интервью — и ничего больше. Тогда, пожалуй, высказав мне свои умозаключения, вы бы просто вынудили меня вместо этого стать вашим палачом, не так ли?

— Очень может быть, — на удивление весело согласился Дарлинг. — Такие последствия я тоже предвидел. Я прожил богатую, насыщенную жизнь, а теперешний мой недуг изрядно мне досаждает, и я прекрасно знаю, что он неизлечим, стало быть, маяться годом меньше — не такая уж страшная потеря. С другой стороны, риск, пожалуй, невелик. Убить меня годом раньше значило бы несколько нарушить математическую стройность и закономерность всей системы. Нарушение не бог весть какое серьезное, но ведь бюрократам ненавистно всякое, даже самое пустячное отклонение от установленного порядка. Так или иначе, мне-то все равно. А вот насчет вас я не уверен, мистер Уиберг. Совсем не уверен.

— Насчет меня? — растерялся Уиберг. — При чем тут я?

Никаких сомнений — в глазах Дарлинга вспыхнул прежний насмешливый, злорадный огонек.

— Вы — статистик. Это ясно, ведь вы с такой легкостью понимали мою специальную терминологию. Ну а я математик-любитель, интересы мои не ограничивались теорией вероятностей; в частности, я занимался еще и проективной геометрией. Я наблюдал за статистикой, за уровнем народонаселения и смертностью, а кроме того, еще и чертил кривые. И потому мне известно, что моя смерть настанет четырнадцатого апреля будущего года. Назовем этот день для памяти Днем Писателя.

Так вот, мистер Уиберг. Мне известно также, что третье ноября нынешнего года можно будет назвать Днем Статистика. И, мне кажется, вы не настолько молоды, чтобы чувствовать себя в полной безопасности, мистер Уиберг.

Вот я и спрашиваю: а у вас хватит мужества встретить этот день? Ну-с? Хватит у вас мужества? Отвечайте, мистер Уиберг, отвечайте. Вам не так уж много осталось.

Рэй Брэдбери
Человек в картинках

С человеком в картинках я повстречался ранним тёплым вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе, это был последний переход в моем двухнедельном странствии по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать — и тут-то на вершину холма поднялся Человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе.

Тогда я еще не знал, что он — в картинках. Разглядел только, что он высокий и прежде, видно, был поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи — как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское.

Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня:

— Не скажете, где бы мне найти работу?

— Право, не знаю, — сказал я.

— Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы, — пожаловался он.

В такую жару на нём была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава — и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Пот градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул.

— Что ж, — сказал он, помолчав, — можно и тут переночевать, чем плохое место. Составлю вам компанию, — вы не против?

— Милости просим, могу поделиться кое-какой едой, — сказал я.

Он тяжело, с кряхтеньем опустился наземь.

— Вы ещё пожалеете, что предложили мне остаться, — сказал он. — Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября. День труда — самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается, тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду.

Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать.

— На работе, если повезет, продержусь дней десять. А потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны! Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше

и не соваться.

— Что ж так?

Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя.

— Чудно, — сказал он, всё ещё не открывая глаз. — На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь — вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали! В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь: может, их потом смоет или кожа облупятся и всё сойдёт, а вечером глядишь — они тут как тут. — Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. — Тут они?

Не сразу мне удалось перевести дух.

— Да, — сказал я, — они тут.

Картинки.

— И ещё я почему застегиваю ворот — из-за ребятни, — сказал он, открывая глаза. — Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь всем неприятно.

Он снял рубашку и свернул ее в комок. Он был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса.

— И дальше то же самое, — сказал он, угадав мою мысль. — Я весь как есть в картинках. Вот поглядите.

Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза — только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся её, но это была только картинка.

Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза: на нём живого места не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки — целые толпы, да так все хитро сплетено и перепутано, так ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось — даже слышны тихие, приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Чуть он шевельнётся, вздохнёт — и вздрагивают крохотные рты, подмигивают крохотные зелёные с золотыми искорками глаза, взмахивают крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы, тут же протянулся Млечный Путь — звёзды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати разных местах, если не больше, — на руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чём-то своём, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее.

— Да какие красивые картинки! — вырвалось у меня.

Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих жёлто-зелёных тонах, со странно удлиненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомца. Краски пылали в трёх измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь, собранное на одной и той же сцене, сверкало все великолепие вселенной; этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница татуировщик, всё малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота.

— Ещё бы! — сказал Человек в картинках. — Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнём. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом…

Солнце садилось. На востоке уже взошла луна.

— Понимаете ли, — сказал Человек в картинках, — они предсказывают будущее.

Я молчал.

— Днём, при свете, еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане. А вот ночью… все картинки двигаются. Они меняются.

Должно быть, я невольно улыбнулся.

— И давно вы так разрисованы?

— В тысяча девятисотом, когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя, а надо ж было что-то делать, я и решил — пускай меня татуируют.

— Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?

— Она вернулась, в будущее, — был ответ. — Я не шучу. Это была старуха, она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Этакая колдунья, то дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — лет двадцать, не больше, но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха.

— Как же вы с ней познакомились?

И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску: РОСПИСЬ НА КОЖЕ! Не татуировка, а роспись! Настоящее искусство! И всю ночь напролёт он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колют и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А наутро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок.

— Вот уже полвека я каждое лето её ищу, — сказал он и

потряс кулаком. — А как отыщу — убью.

Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели в сумраке, точно раскаленные уголья, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов, и там были краски Руо, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Греко.

— Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут — и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй, они прямо на мне разыгрываются, вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно всё тут, только и ждёт, чтоб вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место. — Он повернулся спиной. — Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то.

— Вижу.

— Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается и на нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение и видна вся ее жизнь — как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение: как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в три шеи.

Так он говорил и все поглаживал ладонями свои картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал, точь-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лёг, откинувшись на спину, очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, ни ветерка. Мы оба лежали без рубашек.

— И вы так и не отыскали ту старуху?

— Нет.

— И по-вашему, она явилась из будущего?

— А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?

Он устало закрыл глаза. Заговорил тише:

— Бывает, по ночам я их чувствую, картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.

Я лежал шагах в трёх от него. Он был как будто не буйный и

уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки… Я всё не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если б его так изукрасили.

Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, в овражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтоб видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли Человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот:

— Шевелятся, а?

Я понаблюдал с минуту. Потом сказал:

— Да.

Картинки шевелились, каждая в свой черёд, каждая — всего минуту-другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли и, словно далекий прибой, тихо роптали. Не сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звёзды свершали свой путь по небосводу…

Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочался во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую ещё не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидал чёрную пустыню, глубокую, бездонную пропасть — там мерцали звёзды, и среди звёзд что-то шевелилось, что-то падало в чёрную бездну; я смотрел, а оно всё падало…

Рэй Брэдбери
Калейдоскоп

Взрыв огромным консервным ножом вспорол корпус ракеты. Людей выбросило в космос, подобно дюжине трепещущих серебристых рыб. Их разметало в черном океане, а корабль, распавшись на миллион осколков, полетел дальше, словно рой метеоров в поисках затерянного Солнца.

— Беркли, Беркли, ты где?

Слышатся голоса, точно дети заблудились в холодной ночи.

— Вуд, Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, я Стоун.

— Стоун, я Холлис. Где ты?

— Не знаю. Разве тут поймешь? Где верх? Я падаю. Понимаешь, падаю.

Они падали, падали, как камни падают в колодец. Их разметало, будто двенадцать палочек, подброшенных вверх исполинской силой. И вот от людей остались только одни голоса — несхожие голоса, бестелесные и исступленные, выражающие разную степень ужаса и отчаяния.

— Нас относит друг от друга.

Так и было. Холлис, медленно вращаясь, понял это. Понял и в какой-то мере смирился. Они разлучились, чтобы идти каждый своим путем, и ничто не могло их соединить. Каждого защищал герметический скафандр и стеклянный шлем, облекающий бледное лицо, но они не успели надеть силовые установки. С маленькими двигателями они были бы точно спасательные лодки в космосе, могли бы спасать себя, спасать других, собираться вместе, находя одного, другого, третьего, и вот уже получился островок из людей, и придуман какой-то план… А без силовой установки на заплечье они — неодушевленные метеоры, и каждого ждет своя отдельная неотвратимая судьба.

Около десяти минут прошло, пока первый испуг не сменился металлическим спокойствием. И вот космос начал переплетать необычные голоса на огромном черном ткацком стане; они перекрещивались, сновали, создавая прощальный узор.

— Холлис, я Стоун. Сколько времени можем мы еще разговаривать между собой?

— Это зависит от скорости, с какой ты летишь прочь от меня, а я-от тебя.

— Что-то около часа.

— Да, что-нибудь вроде того, — ответил Холлис задумчиво и спокойно.

— А что же все-таки произошло? — спросил он через минуту.

— Ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— В какую сторону ты летишь?

— Похоже, я на Луну упаду.

— А я на Землю лечу. Домой на старушку Землю со скоростью шестнадцать тысяч километров в час. Сгорю, как спичка.

Холлис думал об этом с какой-то странной отрешенностью. Точно он видел себя со стороны и наблюдал, как он падает, падает в космосе, наблюдал так же бесстрастно, как падение первых снежинок зимой, давным— давно.

Остальные молчали, размышляя о судьбе, которая поднесла им такое: падаешь, падаешь, и ничего нельзя изменить. Даже капитан молчал, так как не мог отдать никакого приказа, не мог придумать никакого плана, чтобы все стало по-прежнему.

— Ох, как долго лететь вниз. Ох, как долго лететь, как долго, долго, долго лететь вниз, — сказал чей-то голос. — Не хочу умирать, не хочу умирать, долго лететь вниз…

— Кто это?

— Не знаю.

— Должно быть, Стимсон. Стимсон, это ты?

— Как долго, долго, сил нет. Господи, сил нет.

— Стимсон, я Холлис. Стимсон, ты слышишь меня?

Пауза, и каждый падает, и все порознь.

— Стимсон.

— Да. — Наконец-то ответил.

— Стимсон, возьми себя в руки, нам всем одинаково тяжело.

— Не хочу быть здесь. Где угодно, только не здесь.

— Нас еще могут найти.

— Должны найти, меня должны найти, — сказал Стимсон. — Это неправда, то, что сейчас происходит, неправда.

— Плохой сон, — произнес кто-то.

— Замолчи! — крикнул Холлис.

— Попробуй, заставь, — ответил голос. Это был Эплгейт. Он рассмеялся бесстрастно, беззаботно. — Ну, где ты?

И Холлис впервые ощутил всю невыносимость своего положения. Он захлебнулся яростью, потому что в этот миг ему больше всего на свете хотелось поквитаться с Эплгейтом. Он много лет мечтал поквитаться, а теперь поздно, Эплгейт — всего лишь голос в наушниках.

Они падали, падали, падали…

Двое начали кричать, точно только сейчас осознали весь

ужас, весь кошмар происходящего. Холлис увидел одного из них: он проплыл мимо него, совсем близко, не переставая кричать, кричать…

— Прекрати!

Совсем рядом, рукой можно дотянуться, и все кричит. Он не замолчит. Будет кричать миллион километров, пока радио работает, будет всем душу растравлять, не даст разговаривать между собой.

Холлис вытянул руку. Так будет лучше. Он напрягся и достал до него. Ухватил за лодыжку и стал подтягиваться вдоль тела, пока не достиг головы. Космонавт кричал и лихорадочно греб руками, точно утопающий. Крик заполнил всю Вселенную.

«Так или иначе, — подумал Холлис. — Либо Луна, либо Земля, либо метеоры убьют его, зачем тянуть?»

Он раздробил его стеклянный шлем своим железным кулаком. Крик захлебнулся. Холлис оттолкнулся от тела, предоставив ему кувыркаться дальше, падать дальше по своей траектории.

Падая, падая, падая в космос, Холлис и все остальные отдались долгому, нескончаемому вращению и падению сквозь безмолвие.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис промолчал, но почувствовал, как его лицо обдало жаром.

— Это Эплгейт опять.

— Ну что тебе, Эплгейт?

— Потолкуем, что ли. Все равно больше нечем заняться.

Вмешался капитан:

— Довольно. Надо придумать какой-нибудь выход.

— Эй, капитан, молчал бы ты, а? — сказал Эплгейт.

— Что?

— То, что слышал. Плевал я на твой чин, до тебя сейчас шестнадцать тысяч километров, и давай не будем делать из себя посмешище. Как это Стимсон сказал: нам еще долго лететь вниз.

— Эплгейт!

— А, заткнись. Объявляю единоличный бунт. Мне нечего терять, ни черта. Корабль ваш был дрянненький, и вы были никудышным капитаном, и я надеюсь, что вы сломаете себе шею, когда шмякнетесь о Луну.

— Приказываю вам замолчать!

— Давай, давай, приказывай. — Эплгейт улыбнулся за шестнадцать тысяч километров. Капитан примолк. Эплгейт продолжал: — Так на чем мы остановились, Холлис? А, вспомнил. Я ведь тебя тоже терпеть не могу. Да ты и сам об этом знаешь.

Давно знаешь.

Холлис бессильно сжал кулаки.

— Послушай-ка, что я скажу, — не унимался Эплгейт. — Порадую тебя. Это ведь я подстроил так, что тебя не взяли в «Рокет компани» пять лет назад.

Мимо мелькнул метеор. Холлис глянул вниз: левой кисти как не бывало. Брызнула кровь. Мгновенно из скафандра вышел весь воздух. Но в легких еще остался запас, и Холлис успел правой рукой повернуть рычажок у левого локтя; манжет сжался и закрыл отверстие. Все произошло так быстро, что он не успел удивиться. Как только утечка прекратилась, воздух в скафандре вернулся к норме. И кровь, которая хлынула так бурно, остановилась, когда он еще сильней повернул рычажок — получился жгут.

Все это происходило среди давящей тишины. Остальные болтали. Один из них, Леспер, знай себе, болтал про свою жену на Марсе, свою жену на Венере, свою жену на Юпитере, про свои деньги, похождения, пьянки, игру и счастливое времечко. Без конца тараторил, пока они продолжали падать. Летя навстречу смерти, он предавался воспоминаниям и был счастлив.

До чего все это странно. Космос, тысячи космических километров — и среди космоса вибрируют голоса. Никого не видно, только радиоволны пульсируют, будоражат людей.

— Ты злишься, Холлис?

— Нет.

Он и впрямь не злился. Вернулась отрешенность, и он стал бесчувственной глыбой бетона, вечно падающей в никуда.

— Ты всю жизнь карабкался вверх, Холлис. И не мог понять, что вдруг случилось. А это я успел подставить тебе ножку как раз перед тем, как меня самого выперли.

— Это не играет никакой роли, — ответил Холлис.

Совершенно верно. Все это прошло. Когда жизнь прошла, она словно всплеск кинокадра, один миг на экране; на мгновение все страсти и предрассудки сгустились и легли проекцией на космос, но прежде чем ты успел воскликнуть: «Вон тот день счастливый, а тот несчастный, это злое лицо, а то доброе», — лента обратилась в пепел, а экран погас.

Очутившись на крайнем рубеже своей жизни и оглядываясь назад, он сожалел лишь об одном: ему всего-навсего хотелось жить еще. Может быть, у всех умирающих/такое чувство, будто они и не жили? Не успели вздохнуть как следует, как уже все пролетело, конец? Всем ли жизнь кажется такой невыносимо быстротечной — или только ему, здесь, сейчас, когда остался всего час-другой на раздумья и размышления?

Чей-то голос — Леспера — говорил:

— А что, я пожил всласть. Одна жена на Марсе, вторая на Венере, третья на Юпитере. Все с деньгами, все меня холили. Пил, сколько влезет, раз проиграл двадцать тысяч долларов.

«Но теперь-то ты здесь, — подумал Холлис. — У меня ничего такого не было. При жизни я завидовал тебе, Леспер, пока мои дни не были сочтены, завидовал твоему успеху у женщин, твоим радостям. Женщин я боялся и уходил в космос, а сам мечтал о них и завидовал тебе с твоими женщинами, деньгами и буйными радостями. А теперь, когда все позади и я падаю вниз, я ни в чем тебе не завидую, ведь все прошло, что для тебя, что для меня, сейчас будто никогда и не было ничего». Наклонив голову, Холлис крикнул в микрофон:

— Все это прошло, Леспер!

Молчание.

— Будто и не было ничего, Леспер!

— Кто это? — послышался неуверенный голос Леспера.

— Холлис.

Он подлец. В душу ему вошла подлость, бессмысленная подлость умирающего. Эплгейт уязвил его, теперь он старается сам кого-нибудь уязвить. Эплгейт и космос — и тот и другой нанесли ему раны.

— Теперь ты здесь, Леспер. Все прошло. И точно ничего не было, верно?

— Нет.

— Когда все прошло, то будто и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас — вот что важно. Тебе лучше, чем мне? Ну?

— Да, лучше!

— Это чем же?

— У меня есть мои воспоминания, я помню! — вскричал Леспер где-то далеко-далеко, возмущенно прижимая обеими руками к груди свои драгоценные воспоминания.

И ведь он прав. У Холлиса было такое чувство, словно его окатили холодной водой. Леспер прав. Воспоминания и вожделения не одно и то же. У него лишь мечты о том, что он хотел бы сделать, у Леспера воспоминания о том, что исполнилось и свершилось. Сознание этого превратилось в медленную, изощренную пытку, терзало Холлиса безжалостно, неумолимо.

— А что тебе от этого? — крикнул он Лесперу. — Теперь— то? Какая радость от того, что было и быльем поросло? Ты в таком же положении, как и я.

— У меня на душе спокойно, — ответил Леспер. — Я свое

взял. И не ударился под конец в подлость, как ты.

— Подлость? — Холлис повертел это слово на языке.

Сколько он себя помнил, никогда не был подлым, не смел быть подлым. Не иначе, копил все эти годы для такого случая. «Подлость». Он оттеснил это слово в глубь сознания. Почувствовал, как слезы выступили на глазах и покатились вниз по щекам. Кто-то услышал, как у него перехватило голос.

— Не раскисай, Холлис.

В самом деле, смешно. Только что давал советы другим, Стимсону, ощущал в себе мужество, принимая его за чистую монету, а это был всего-навсего шок и — отрешенность, возможная при шоке. Теперь он пытался втиснуть в считанные минуты чувства, которые подавлял целую жизнь.

— Я понимаю, Холлис, что у тебя на душе, — прозвучал затухающий голос Леспера, до которого теперь было уже тридцать тысяч километров. — Я не обижаюсь.

«Но разве мы не равны, Леспер и я? — недоумевал он. — Здесь, сейчас? Что прошло, то кончилось, какая теперь от этого радость? Так и так конец наступил». Однако он знал, что упрощает: это все равно что пытаться определить разницу между живым человеком и трупом. У первого есть искра, которой нет у второго, эманация, нечто неуловимое.

Так и они с Леспером: Леспер прожил полнокровную жизнь, он же, Холлис, много лет все равно что не жил. Они пришли к смерти разными тропами, и если смерть бывает разного рода, то их смерти, по всей вероятности, будут различаться между собой, как день и ночь. У смерти, как и у жизни, множество разных граней, и коли ты уже когда-то умер, зачем тебе смерть конечная, раз навсегда, какая предстоит ему теперь?

Секундой позже он обнаружил, что его правая ступня начисто срезана. Прямо хоть смейся. Снова из скафандра вышел весь воздух. Он быстро нагнулся: ну, конечно, кровь, метеор отсек ногу до лодыжки. Ничего не скажешь, у этой космической смерти свое представление о юморе. Рассекает тебя по частям, точно невидимый черный мясник. Боль вихрем кружила голову, и он, силясь не потерять сознание, затянул рычажок на колене, остановил кровотечение, восстановил давление воздуха, выпрямился и продолжал падать, падать — больше ничего не оставалось.

— Холлис?

Он сонно кивнул, утомленный ожиданием смерти.

— Это опять Эплгейт, — сказал голос.

— Ну.

— Я подумал. Слышал, что ты говорил. Не годится так. Во что

мы себя превращаем! Недостойная смерть получается. Изливаем друг на друга всю желчь. Ты слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал. Только что. Соврал. Никакой ножки я тебе не подставлял. Сам не знаю, зачем так сказал. Видно, захотелось уязвить тебя. Именно тебя. Мы с тобой всегда соперничали. Видишь — как жизнь к концу, так и спешишь покаяться. Видно, это твое зло вызвало у меня стыд. Так или не так, хочу, чтобы ты знал, что я тоже вел себя по— дурацки. В том, что я тебе говорил, ни на грош правды, И катись к черту.

Холлис снова ощутил биение своего сердца. Пять минут оно словно и не работало, но теперь конечности стали оживать, согреваться. Шок прошел, прошли также приступы ярости, ужаса, одиночества. Как будто он только что из-под холодного душа, впереди завтрак и новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит. Выше голову, старый мошенник.

— Эй, — вступил Стоун.

— Что тебе? — отозвался Холлис через просторы космоса; Стоун был его лучшим другом на корабле.

— Попал в метеорный рой, такие миленькие астероиды.

— Метеоры?

— Это, наверно, Мирмидоны, они раз в пять лет пролетают мимо Марса к Земле. Меня в самую гущу занесло. Кругом точно огромный калейдоскоп… Тут тебе все краски, размеры, фигуры. Ух ты, красота какая, этот металл!

Тишина.

— Лечу с ними, — снова заговорил Стоун. — Они захватили меня. Вот чертовщина!

Он рассмеялся.

Холлис напряг зрение, но ничего не увидел. Только крупные алмазы и сапфиры, изумрудные туманности и бархатная тушь космоса, и глас всевышнего отдается между хрустальными бликами. Это сказочно, удивительно: вместе с потоком метеоров Стоун будет много лет мчаться где-то за Марсом и каждый пятый год возвращаться к Земле, миллион веков то показываться в поле зрения планеты, то вновь исчезать. Стоун и Мирмидоны, вечные и нетленные, изменчивые и непостоянные, как цвета в калейдоскопе — длинной трубке, которую ты в детстве наставлял на солнце и крутил.

— Прощай, Холлис. — Это чуть слышный голос Стоуна. — Прощай.

— Счастливо! — крикнул Холлис через пятьдесят тысяч километров.

— Не смеши, — сказал Стоун и пропал.

Звезды подступили ближе.

Теперь все голоса затухали, удаляясь каждый по своей траектории, кто в сторону Марса, кто в космические дали. А сам Холлис… Он посмотрел вниз. Единственный из всех, он возвращался на Землю.

— Прощай.

— Не унывай.

— Прощай, Холлис. — Это Эплгейт.

Многочисленные: «До свидания». Отрывистые:

«Прощай». Большой мозг распадался. Частицы мозга, который так чудесно работал в черепной коробке несущегося сквозь космос ракетного корабля, одна за другой умирали; исчерпывался смысл их совместного существования. И как тело гибнет, когда перестает действовать мозг, так и дух корабля, и проведенные вместе недели и месяцы, и все, что они означали друг для друга, — всему настал конец. Эплгейт был теперь всего-навсего отторженным от тела пальцем; нельзя подсиживать, нельзя презирать. Мозг взорвался, и мертвые никчемные осколки разбросало, не соберешь. Голоса смолкли, во всем космосе тишина. Холлис падал в одиночестве.

Они все очутились в одиночестве. Их голоса умерли, точно эхо слов всевышнего, изреченных и отзвучавших в звездной бездне. Вон капитан улетел к Луне, вон метеорный рой унес Стоуна, вон Стимсон, вон Эплгейт на пути к Плутону, вон Смит, Тэрнер, Ундервуд и все остальные; стеклышки калейдоскопа, которые так долго составляли одушевленный узор, разметало во все стороны.

«А я? — думал Холлис. — Что я могу сделать? Есть ли еще возможность чем-то восполнить ужасающую пустоту моей жизни? Хоть одним добрым делом загладить подлость, которую я накапливал столько лет, не подозревая, что она живет во мне! Но ведь здесь, кроме меня, никого нет, а разве можно в одиночестве сделать доброе дело? Нельзя. Завтра вечером я войду в атмосферу Земли».

«Я сгорю, — думал он, — и рассыплюсь прахом по всем материкам. Я принесу пользу. Чуть-чуть, но прах есть прах, земли прибавится».

Он падал быстро, как пуля, как камень, как железная гиря, от всего отрешившийся, окончательно отрешившийся. Ни грусти, ни радости в душе, ничего, только желание сделать доброе дело теперь, когда всему конец, доброе дело, о котором он один будет знать.

«Когда я войду в атмосферу, — подумал Холлис, — то сгорю,

как метеор».

— Хотел бы я знать, — сказал он, — кто-нибудь увидит меня?

Мальчуган на проселочной дороге поднял голову и воскликнул:

— Смотри, мама, смотри! Звездочка падает!

Яркая белая звездочка летела в сумеречном небе Иллинойса.

— Загадай желание, — сказала его мать. — Скорее загадай желание.

Рэй Брэдбери
На большой дороге

Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на косогоре, застучал по соломенной кровле хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок.

Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река, бурля, катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река — покрытое асфальтом шоссе — застыла недвижно и лежала пустынная и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтоб какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул:

— Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем? В одной руке у такого ящичек, который щелкает, в другой — монета.

И если Эрнандо шел к ним с непокрытой годовой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричала:

— Нет, нет, надень шляпу!

И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки — и такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат, только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза, — тогда он поворачивался и шел за шляпой.

— Что-нибудь неладно, Эрнандо? — услыхал он голос жены.

— Si. Дорога. Что-то стряслось. Что-то худое, зря дорога так не опустеет.

Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь, от дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо, куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновенье повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне — длинная, низкая, очень богатая машина — и слепит металлическим блеском. А потом поднимется ил, вода замутится,

и опять ничего не видно.

На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки.

Сейчас он вышел на шоссе и стоял и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт.

И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин, они мчались и мчались — все мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север, к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах. И гудели и сигналили без умолку. Во всех машинах полно народу, и на всех лицах что-то такое, отчего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на закраину шоссе и смотрел, как мчатся машины. Он считал их, пока не устал. Пятьсот, тысяча машин пронеслись мимо, и во всех лицах что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое.

И вот опять тихо и пусто. Быстрые длинные низкие автомобили с откинутым верхом исчезли. Затих вдали последний гудок.

Дорога вновь опустела.

Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили все на север, на север, на какой-то мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук.

И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый-самый последний. Это был старый-престарый «форд», он спустился по горной дороге, под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех своих сил. Казалось, того и гляди, развалится на куски. Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась — она была ржавая, вся в грязи, радиатор сердито ворчал и шипел.

— Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?

За рулем сидел молодой человек лет двадцати, в желтом свитере, белой рубашке с распахнутым воротом и в серых штанах Открытую машину заливал дождь, водитель весь вымок, вымокли и молодые пассажирки — их было пять, они сидели в «фордике» так тесно, что не могли пошевельнуться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая зашита, яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь, и мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались: то им не нравился дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно,

или далеко. Эрнандо кивнул:

— Я принесу воды.

— Ох, пожалуйста, скорее! — воскликнула одна девушка. Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось нетерпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал — впервые он заторопился, когда его попросили проезжие, раньше он всегда только замедлял шаг.

Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку ему тоже подарила большая дорога, однажды она залетела к нему на поле, круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе и не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Эрнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни, отличный получился тазик.

Наливая воду в радиатор, Эрнандо поглядел на молодые растерянные лица.

— Спасибо вам, спасибо! — сказала еще одна девушка. — Вы и не знаете, как вы нас выручили! Эрнандо улыбнулся.

— Очень много машин проехало за этот час. И все в одну сторону. На север.

Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить — возьмет за плечи то одну, то другую и легонько встряхнет, а они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут — одни тихонько, другие навзрыд.

Эрнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода.

— Я не хотел никого обидеть, сеньор, — промолвил он.

— Это ничего, — отозвался водитель.

— А что стряслось, сеньор?

— Вы разве не слыхали? — Молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед. — Это все-таки случилось.

Лучше бы он ничего не говорил, две девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам. Мешаясь со слезами.

Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор. Поглядел на небо — оно было черное, грозовое. Поглядел на реку — она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал очень жесткий.

Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету.

— Нет, — сказал он. — Я не ради денег.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — все еще. всхлипывая, сказала одна из девушек. — Ох, мама, папа… я хочу домой, хочу домой… мама, папочка… Подруги обхватили ее за плечи.

— Я ничего не слыхал, сеньор, — тихо сказал Эрнандо.

— Война! — крикнул молодой человек во все горло, будто кругом были глухие. — Вот она, атомная война, конец света!

— Сеньор, сеньор, — сказал Эрнандо.

— Спасибо вам, спасибо, что помогли, — сказал, молодой человек. — Прощайте.

— Прощайте, — сквозь стену дождя сказали девушки; они уже не видели Эрнандо.

Он стоял и смотрел вслед дряхлому «форду», пока тот, дребезжа, опускался в долину. И вот все скрылось из виду — последняя машина, и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами.

Еще долго Эрнандо стоял не. шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам, он стоял затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал.

Он все не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет, очень долго», — подумал он.

Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь десять минут, словно чье-то зловонное дыхание. Из чащи потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, поглядел на небо — в вышине уже разгоралось жаркое солнце.

Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула:

— Что случилось, Эрнандо?

— Да так, ничего, — отозвался он. Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу! — Вперед, бурро!

И, вспахивая тучную землю, они с ослом зашагали по полю, под проясняющимся небом, вдоль глубокой реки.

— «Конец света», — вспомнил вслух Эрнандо. — Как же, так — конец?

Рэй Брэдбери
Завтра конец света

— Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?

— Что бы я делала? Ты не шутишь?

— Нет.

— Не знаю. Не думала.

Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярком зеленоватом свете ламп «молния», обе девочки что-то строили из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.

— Что ж, пора об этом подумать, — сказал он.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— Война?

Он покачал головой.

— Атомная бомба? Или водородная?

— Нет.

— Бактериологическая война?

— Да нет, ничего такого, — сказал он, помешивая ложечкой кофе. — Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку.

— Что-то я не пойму.

— По правде говоря, я и сам не понимаю, просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе. — Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы. — Я тебе сперва не говорил. Это случилось четыре дня назад.

— Что?

— Мне приснился сон. Что скоро все кончится, и еще так сказал голос. Совсем незнакомый, просто голос, и он сказал, что у нас на Земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу, Стэн Уиллис средь бела дня уставился в окно. Я говорю — о чем замечтался, Стэн? А он отвечает — мне сегодня снился сон, и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал.

— Тот самый сон?

— Тот самый. Я сказал Стану, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился. Даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору, просто так, для интереса. Это получилось само

собой. Мы не говорили — пойдем поглядим, как и что. Просто пошли и видим, кто разглядывает свой стол, кто руки, кто в окно смотрит. Кое с кем я поговорил. И Стэн тоже.

— И всем приснился тот же сон?

— Всем до единого. В точности то же самое.

— И ты веришь?

— Верю. Сроду ни в чем не был так уверен.

— И когда же это будет? Когда все кончится?

— Для нас — сегодня ночью, в каком часу не знаю, а потом и в других частях света, когда там настанет ночь — земля-то вертится. За сутки все кончится.

Они посидели немного, не притрагиваясь к кофе. Потом медленно выпили его, глядя друг на друга.

— Чем же мы это заслужили? — сказала она.

— Не в том дело, заслужили или нет, просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Почему это?

— Наверно, есть причина.

— Та самая, что у всех наших в конторе?

Она медленно кивнула.

— Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился тот самый сон. Я думала, это просто совпадение. — Она взяла со стола вечернюю газету. — Тут ничего не сказано.

— Все и так знают. — Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену. — Боишься?

— Нет. Я всегда думала, что будет страшно, а оказывается, не боюсь.

— А нам вечно твердят про чувство самосохранения — что же оно молчит?

— Не знаю. Когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться.

— Разве мы были такие уж плохие?

— Нет, но и не очень-то хорошие. Наверно, в этом вся беда — в нас ничего особенного не было, просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили невесть что.

В гостиной смеялись девочки.

— Мне всегда казалось: вот придет такой час, и все с воплями выбегут на улицу.

— А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя.

— Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу,

вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть еще хоть один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?

— Так ведь все равно ничего не поделаешь.

— Да, верно. Если б можно было, мы бы что-нибудь делали. Я думаю, это первый случай в истории — сегодня каждый в точности знает, что с ним будет завтра.

— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать и сами лягут — все, как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все, как всегда.

Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.

— Как ты думаешь, почему именно сегодня?

— Потому.

— А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

— Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все. Такое уж особенное число, потому что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец.

— Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся.

— Вот отчасти и поэтому.

— Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?

Они перемыли посуду и аккуратней обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь спальни чуточку приоткрытой.

— Не знаю… — сказал муж, выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке.

— О чем ты?

— Закрыть дверь плотно или оставить щелку, чтоб было светлее…

— А может быть, дети знают?

— Нет, конечно, нет.

Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные угольях, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит этот вечер —

каждый по-своему.

— Что ж, — сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем.

— Все-таки нам было хорошо друг с другом.

— Тебе хочется плакать? — спросил он.

— Пожалуй, нет.

Они прошли по всему дому и погасили свет, в спальне разделись, не зажигая огня, в прохладной темноте, и откинули одеяла.

— Как приятно, простыни такие свежие.

— Я устала.

— Мы все устали.

Они легли.

— Одну минуту, — сказала она.

Поднялась и вышла на кухню. Через минуту вернулась.

— Забыла привернуть кран, — сказала она.

Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся.

Она тоже посмеялась, — и правда, забавно! Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки щекой к щеке.

— Спокойной ночи, — сказал он еще через минуту.

— Спокойной ночи.

Рэй Брэдбери
Кошки-мышки

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище — огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выводившего протяжную трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследуя смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжущее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману.

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай

развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на гремящую звоном колокольню, пускал огромные шутихи, они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жаренными в масле маисовыми лепешками так, что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела — на них смотрит тот человек, белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые, и он в упор смотрит на них с Уильямом.

Она бы его и не заметила, если б у его локтя не выстроилась целая батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяку и еще семь штук разных напитков, и под рукой — десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка два пачек турецких сигарет, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Билл… — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись. — Он улыбнулся: нельзя привлекать

внимание. — Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Давиду — что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

«Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия».

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слыхала?

Про Бюро путешествий во времени слыхала? Можно ехать, куда хочешь — в Рим за двести лет до Рождества Христова, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай — увидать своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана, и Моисея, и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламу.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги:

РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА!

БРАТЬЯ РАЙТ НА «КИТТИ ХОК»!

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала: «Вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в этот мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио…»

Они были в Мексике в 1938 году. Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе. Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска развеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, походили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, смаковали странные напитки, наслаждались непривычными яствами, накупили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее, так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом: как они одеты, как

причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О Господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинно солдатское щелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда садились.

Уильям похолодел. Опустил глаза — руки его лежали на коленях, как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват. — Незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы НЕ подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер… Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу… Вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что…

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот— вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы

смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — Голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, и почему я их не подтянул, когда садился. Для этой эпохи самый обычный жест, все их поддергивают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, во всем виновата моя походка — эти высокие каблуки… И наши прически, стрижка… видно, что мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен… не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедем в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины, — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых, станем ходить по базарам, останавливаться в лучших отелях и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтоб нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре послышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно. И вот зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит. Сьюзен опустила трубку и, похолодев, вытянулась на постели. За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью…

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты…

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с каким-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa?[4] — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По— моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

Отвлекись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетное множество сигарет и ждет. Глядя

сверху на этих веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала:

«Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошлое нужно охранять от Будущего, Будущее — от Пришлою. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберечь от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же: яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось — рядом с ними тепло и безопасно она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, спустился мистер Симс. Он издали кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу им, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине, выберем минуту, когда Симе не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-Сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наметки для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я — режиссер. Ну не паршивая ли страна! На

улицах всюду похороны, люди мрут как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порадуйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен подсела к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще издали, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удается себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесполезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпения у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну. И Мелтон вновь что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях! — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симе. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы!

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам сбежать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — удрать от своего прямого долга!

— Какой это долг! Кромешный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада все ему рассказать. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Полмира вымирает от бомб, несущих проказу!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симе. — Вы двое прячетесь, гак сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят прямиком к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умирающим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил.

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу. —

Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы упустили случай?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика — очень досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен. — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится)!

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симе, складка его брюк была безупречна Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы из гаража выехал Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму — и тут он увидал машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар Симса подбросило, вверх, вверх, потом вниз, вниз и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворив балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios? senor, — сказал им вслед мэр города — Adios? Seniora.[5]

Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Несчастный

случай. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-Сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не будет погони? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю Думаю, у нас есть немного форы. Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловатой глины и повсюду пламенели цветы бугенвиллеи, смотрела и думала: «Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостиной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запираться на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтоб поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: „Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!“ И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам».

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре.

Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел он оттуда озабоченный.

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они огляделись — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик — согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

«Время, — подумала Сьюзен. — Если бы у нас было время! Как бы хорошо весь долгий летний день сидеть на площади с закрытыми глазами, и улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем…»

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд?

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком взглянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя; и путешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил

Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене — они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который кажется им воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — И он допил вино.

Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь.

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь…

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрей!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил всю комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрей!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены, струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «Creme de Cacao», абсент, вермут, текилья, а кроме того — 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука…

Рэй Брэдбери
Бетономешалка

Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттил — трус! Эттил — изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Эттил отсиживается дома!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттил опозорил своего сына, каково мальчику знать, что его отец — трус! — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттил, как ты можешь?

Эттил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Вторжение на Землю — глупейшая затея. Она нас погубит.

За окном — гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Эттил.

Громкий стук. Тилла отворила дверь. В комнату ворвался Эттилов тесть.

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришься навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте, — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу. — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как

нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут… О стыд!

— О стыд! — всхлипнули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспылил Эттил. — Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась на пороге — военный патруль.

— Эттил Врай? — рявкнул голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды, каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались врассыпную.

— Дураки, — шептал Эттил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки, навалом груженной книгами. Позади выросла фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории», «Научные рассказы», «Фантастические повести». Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте.

Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого — тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю.

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— …а потом потерпели крах, — докончил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по

милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите. Наставник, у них за плечами традиция поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?

— Ну-у…

— Не было.

— Пожалуй, что и так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Странная логика. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им неколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгоришь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Эттила втолкнут в яму.

А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой — смерть. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника — в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве — придвинулось ближе.

— Чего тебе?

— Я вступаю в Военный легион, — сказал Эттил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли…

— А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути, — сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчеи Эттил увидел жену, она плакала от гордости, рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что— то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели, — прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе, — скорчив подобающую мину, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна, — думал Эттил. — Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим — наша прославленная ракета запылает в небе над земля нами, и сердца их исполнятся страхом. Ну, а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно да лек от дома, от жены, от сына?»

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, — все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса — мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой.

Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек, ты труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и вы, — потрошили, и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей,

раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладелый, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Эттил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

Как быстро все это получилось, думал он. Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли, мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи…

— Орудия к бою!

— Есть!

— Прицел!

— Дистанция в милях?

— Десять тысяч!

— Штурм!

Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Эттил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет…

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

Т-и-и-и-и-!

— Что это?

— Радио с Земли!

— Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-иии!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да, добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно вещал голос. — Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

— Этого не может быть! — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Эттил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении.

— Он сошел с ума!

А Эттил все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

Толпа ахнула.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш! — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го-та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан— Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно!

Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!».

Эттил и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замять неловкость, возникшую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами

своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик», при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели «Все они славные парни».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она. Земля!

— А я считаю, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — «БЛЕСК. Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое.

— А я говорю, их надо-перебить-всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, у них это называется «на дружеской ноге». Это огромное сборище самых обыкновенных людей, они равно благосклонны, что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же… все же…

Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Давясь и отплевываясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор… гнусный заговор… — стонал он и судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Эттил. — У них это называется кукурузные хлопья.

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, и штуку, которую они называют пирожное, — вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом… марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось — столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь — все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри украдкой хихикнули.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Заговор, — шептал Эттил. — Так и знайте, это заговор!

В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо и хитро; накрашенные рты алели как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них

только посмотрите! Видите, видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах — злобные подводные чудища!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!

— Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздались голоса.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт побери!

Издалека долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Эттил с воплем кинулся бежать…

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Да ну, пойдем, — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вам тут, на Земле, больше нечего делать?

— А чего тебе еще? — она подозрительно его оглядела, голубые глаза округлились. — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу:

— А все-таки чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой «подлер-шесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «подлер-шесть», тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе «подлер-шесть» — и кати, куда вздумается, это уж точно.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего…

— Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист! — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомни, по доброте душевной!

И она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложил бумагу на коленях и старательно вывел: «Дорогая Тилла!…» Но тут его снова прервали. — Чуть не под носом застучали в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. — Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли? — она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впилась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это как сейчас вижу, — сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего.

— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?

— Да нет же! — Эттил смутился и растерялся. — Я думал, вы это про…

— Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле, вы покроетесь язвами, вам уготованы адские муки…

— Да, признаться. Земля — место малоприятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась

старушонка.

— Нет-нет, прошу прощения. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без устали шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придешь, придешь?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!» Ошеломленный Эттил снова взялся за письмо. «Дорогая Тилла! Подумай только, по своей naivete[6] я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобны, живые — и все-таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные derrieres.[7] Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль…»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина. Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в этакие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах кровавое месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка — и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник — карнавал в день всех святых. Видимо, в этот день они

поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии, еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть некий Человек, и у него Рычаг, довольно ему нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына».

Эттил Врай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно, если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек!

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживей! Вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в

машину.

Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слыхали про такого? Нет? Ну, все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — бл-а-городнейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сижу сегодня дома, и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ. А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас — и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— Но… — возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения и…

— Э, да вы шутник. Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий. — В азарте он наклонился к Эттилу. — Сперва шикарные кадры: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города…

— Но у нас на Марсе города совсем не такие…

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров…

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и…

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал…

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Эттил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы… вы все принимаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудаки же вы там, на Марсе! Сразу видно, святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди самые заурядные, верно? Так вот мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Заурядного Человека, Билл, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь сарояны. Да, да. Этакое огромное семейство благодушных сароянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе и завидно, что у нас такие города…

— Наша цивилизация гораздо старше вашей…

— Уж пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок.

Мы вас завалим товарами, только хватайте, и средства для

удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валяй.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет, вас… м-м… Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете… вспомнилась одна история… — Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы Рик! Ох, забавно! Ну, совсем не похожи. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах. Мак. Может, я и не Аполлон, но…

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоюет Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал: надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси, там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу? — воззвал Р. Р. Ван Пленк к небесам. — На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а…

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего

фильма, идет? Для начала получаешь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощенья. Я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок: судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем… заманили, раздавили…

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько

покончат с собой?

Эттил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу — да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня: да, наши женщины высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казино Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков, — да, не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война ужасна, но мир подчас куда страшнее.

Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцами, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эттил кинулся бежать. Машина настигала.

Да, да, устало подумал он. Как странно, как печально… и рев, грохот… точь-в— точь бетономешалка.

Рэй Брэдбери
Урочный час

Ох, и весело будет! Вот это игра! Сто лет такого не было! Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут. В небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты!

Мышка вбежала в дом, чумазая и вся в поту. Для семи лет она горластая и крепкая, и на редкость твердый характер. Миссис Моррис оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигает ящики и сыплет в мешок кастрюльки и разную утварь.

— О господи, Мышка, что это творится?

— Мы играем! Очень интересно! — запыхавшись, вся красная, отозвалась Мышка.

— Посиди минутку, передохни, — посоветовала мать.

— Не, я не устала. Мам, можно, я все это возьму?

— Только не продырявь кастрюли, — сказала миссис Моррис.

— Спасибо, спасибо! — закричала Мышка и ракетой метнулась прочь.

— А что у вас за игра? — крикнула мать ей вслед.

— Вторжение! — на бегу бросила Мышка.

Хлопнула дверь.

По всей улице дети тащили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой трубы.

Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с десяти, смотрели на все это свысока и уходили гулять подальше или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались.

Тем временем отцы и матери разъезжали в сверкающих хромированных машинах. В дома приходили мастера — починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задуривший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали на озабоченное молодое поколение, завидовали неуемной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, не прочь бы позабавиться с детишками, да только солидному человеку такое не пристало…

— Эту, эту и еще эту, — командовала Мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложки, штопоры и отвертки. — Это давай сюда, а это туда. Не так! Вот неумеха! Так. Теперь не мешайся, я приделаю эту штуку, — она прикусила

кончик языка и озабоченно наморщила лоб. — Вот так. Понятно?

— Ага-а! — завопили ребята.

Подбежал двенадцатилетний Джозеф Коннорс.

— Уходи! — без обиняков заявила Мышка.

— Я хочу с вами играть, — сказал Джозеф.

— Нельзя! — отрезала она.

— Почему?

— Ты будешь дразниться.

— Честное слово, не буду.

— Нет уж. Знаем мы тебя. Уходи, а то поколотим.

Подкатил на мотороликах еще один двенадцатилетний.

— Эй, Джо! Брось ты эту мелюзгу. Пошли!

Джозефу явно не хотелось уходить, он повторил не без грусти:

— А я хочу с вами.

— Ты старый, — возразила Мышка.

— Не такой уж я старый, — рассудительно сказал Джо.

— Только будешь смеяться и испортишь все вторжение.

Мальчик на мотороликах громко, презрительно фыркнул:

— Пошли, Джо! Ну их! Все еще в сказки играют!

Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался.

А Мышка опять захлопотала. При помощи своего разномастного инструмента она сооружала непонятный аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, и та под ее диктовку прилежно выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали.

А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя и все метался по городу, по полям, по всей стране. В тысяче других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность, люди привыкли к миру и не сомневались: их больше не ждет никакая беда. Ведь на всей земле люди дружны и едины. Все народы в равной мере владеют надежным оружием. Давно уже достигнуто идеальное равновесие сил. Человечество больше не знает ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожится о завтрашнем дне. И сейчас полмира купается в солнечных лучах, и дремлет, пригревшись, листва деревьев.

Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа.

Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что ж, они с

аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые, и слава богу. Она прислушалась.

Подле розового куста Мышка что-то озабоченно говорит… а кому? Там никого нет.

Странный народ дети. Другая кроха — как бишь ее? Да, Энн — она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ.

— Треугольник, — говорит Мышка.

— А что это тре…гольник? — с запинкой спрашивает Энн.

— Неважно, — отвечает Мышка.

— А как оно пишется?

— Тэ…рэ…е… — начинает объяснять Мышка, но у нее не хватает терпения. — А, да пиши как хочешь! — и диктует дальше: — Перекладина.

— Я еще не дописала тре…гольник.

— Скорей, копуха! — кричит Мышка.

Мать высовывается из окна.

— …у-голь-ник, — диктует она растерявшейся Энн.

— Ой, спасибо, миссис Моррис! — говорит Энн.

— Вот это правильное слово, — смеется миссис Моррис и возвращается к своим заботам: надо включить электромагнитную щетку, чтоб вытянуло пыль в прихожей.

А в знойном воздухе колышутся детские голоса.

— Перекладина, — говорит Энн.

Затишье.

— Четыре, девять, семь. А, потом бэ, потом фэ, — деловито диктует издали Мышка. — Потом вилка, и веревочка, и, шеста… шесту… шестиугольник!

За обедом Мышка залпом осушила стакан молока и метнулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу.

— Сядь сию минуту, — велела она дочери. — Сейчас будет суп.

Она нажала красную кнопку автомата, и через десять секунд в резиновом приемнике мягко стукнуло. Миссис Моррис открыла дверцу, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила горячий суп в чашку.

Мышка ерзала на стуле.

— Скорей, мам! Тут вопрос жизни и смерти, а ты…

— В твои годы я была такая же. Всегда вопрос жизни и смерти. Я знаю.

Мышка торопливо глотала суп.

— Ешь помедленнее, — сказала мать.

— Не могу, меня Бур ждет.

— Кто это Бур? Странное имя.

— Ты его не знаешь, — сказала Мышка.

— Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?

— Еще какой новый, — сказала Мышка, принимаясь за вторую порцию.

— Который же это — Бур? Покажи его мне.

— Он там, — уклончиво ответила Мышка. — Ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!

— Что же, этот Бур такой застенчивый?

— Да. Нет. Как сказать. Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится.

— А кто куда вторгается?

— Марсиане на Землю. Нет, они не совсем марсиане. Они… ну не знаю. Вон оттуда, — она ткнула ложкой куда-то вверх.

— И отсюда. — Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный дочкин лоб.

Мышка возмутилась:

— Смеешься! Ты рада убить и Бура, и всех!

— Нет-нет, я никого не хотела обидеть. Так этот Бур — марсианин?

— Нет. Он… ну не знаю. С Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем, ему трудно пришлось.

— Могу себе представить! — Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку.

— Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю.

— Мы неприступны, — с напускной серьезностью подтвердила мать.

— Вот и Бур так говорит. Это самое слово, мам: не…при…

— О-о, какой умный мальчик. Какие взрослые слова знает.

— Ну и вот, мам, они все не могли придумать, как на нас напасть. Бур говорит… он говорит, чтобы хорошо воевать, надо найти новый способ застать людей врасплох. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага.

— Пятую колонну, — сказала мать.

— Ага. Так Бур говорит. А они все не могли придумать, как застать Землю врасплох и как найти помощников.

— Неудивительно. Мы ведь очень сильны, — засмеялась мать, убирая со стола.

Мышка сидела и так смотрела на стол, будто видела на нем все, о чем рассказывала.

— А потом в один прекрасный день, — продолжала она театральным шепотом, — они подумали о детях!

— Вот как! — восхитилась миссис Моррис.

— Да, и они подумали: взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве.

— Разве что когда собирают грибы или улиток.

— И потом, он говорил что-то такое про мери-мери.

— Мери-мери?

— Ме-ре-ния.

— Измерения?

— Ага! Их четыре штуки! И еще про детей до девяти лет и про воображение. Он очень занятно разговаривает.

Миссис Моррис устала от дочкиной болтовни.

— Да, наверно, это занятно. Но твой Бур тебя заждался. Уже поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей.

— Ну-у, еще мыться! — проворчала Мышка.

— Обязательно! И почему это дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши.

— Бур говорит, мне больше не надо будет мыться, — сказала Мышка.

— Ах, вот как?

— Он всем ребятам так сказал. Никакого мытья. И не надо рано ложиться спать, и в субботу можно по телевизору смотреть целых две программы!

— Ну, пускай мистер Бур не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и…

Мышка пошла к двери.

— И еще есть такие мальчишки, Пит Бритз и Дейл Джеррик, мы с ними ругаемся. Они уже большие. И они дразнятся. Они еще хуже родителей. Даже не верят в Бура. Воображалы такие, задаются, что уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом убьем.

— А нас с папой после?

— Бур говорит: вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан! А они позволят нам править всем миром. Ну не нам одним, ребятам из соседнего квартала — тоже. Я, наверно, буду королевой.

Она отворила дверь.

— Мам!

— Да?

— Что такое лог-ги-ка?

— Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться, что верно, а что неверно.

— Бур и про это сказал. А что такое впе-ча-тли-тель-ный? — Мышке понадобилась целая минута, чтобы выговорить такое

длиннющее слово.

— А это… — мать опустила глаза и тихонько засмеялась. — Это значит ребенок.

— Спасибо за обед! — Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню. — Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно, правда-правда!

— И на том спасибо, — сказала мать. Хлопнула дверь.

В четыре часа загудел вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился.

— Здравствуй, Элен! — сказала она.

— Здравствуй, Мэри. Как дела в Нью-Йорке?

— Отлично. А в Скрэнтоне? У тебя усталое лицо.

— У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Путаются под ногами.

Миссис Морис вздохнула.

— Вот и Мышка тоже. У них тут сверхвторжение.

Элен рассмеялась:

— У вас тоже малыши в это играют?

— Ох, да. А завтра все помешаются на головоломках и на моторизованных «классах». Неужели мы тоже году в сорок восьмом были такие несносные?

— Еще хуже. Играли в японцев и нацистов. Не знаю, как мои родители меня терпели. Ужасным была сорванцом.

— Родители привыкают все пропускать мимо ушей.

Короткое молчание.

— Что случилось, Мэри?

Миссис Моррис прикрыла глаза, медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Элен заставил ее вздрогнуть.

— А? Нет, ничего. Просто я как раз об этом и думала. Насчет того, как пропускаешь мимо ушей. Неважно. О чем, бишь, мы говорили?

— Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку… его, кажется, зовут Бур.

— Наверно, у них такой новый пароль. Моя Мышка тоже увлеклась этим Буром.

— Вот не думала, что это и до Нью-Йорка докатилось. Видно, друг от дружки слышат и повторяют. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной, она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре, а она ведь в Бостоне. Всю страну охватило.

В кухню вбежала Мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась:

— Ну, как дела?

— Почти все готово, — ответила Мышка.

— Прекрасно! А это что такое?

— Бумеранг. Смотри!

Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка бросила шарик, пружинка растянулась до отказа… и шарик исчез.

— Видала? — сказала Мышка. — Хоп! — Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку.

— Ну-ка, еще раз, — попросила мать.

— Не могу. В пять часов вторжение. Пока! — И Мышка вышла, пощелкивая игрушкой.

С экрана видеофона засмеялась Элен.

— Мой Тим сегодня утром тоже притащил такую штучку, я хотела посмотреть, как она действует, а Тим ни за что не хотел показать, тогда я попробовала сама, но ничего не получилось.

— Ты не впе-ча-тли-тель-ная, — сказала Мэри Моррис.

— Что?

— Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Элен?

— Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым…

Лениво текло время. Близился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. А ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем побежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо.

— Кто это плакал, Мышка? Не Пегги-Энн?

Мышка что-то делала во дворе, подле розового куста.

— Угу, — ответила она, не разгибаясь. — Пегги-Энн трусиха. Мы с ней больше не водимся. Она уж очень большая. Наверно, она вдруг выросла.

— И поэтому заплакала? Чепуха. Отвечай мне как полагается, не то сейчас же пойдешь домой!

Мышка круто обернулась, испуганная и злая.

— Да не могу я сейчас! Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду.

— Ты что же, ударила Пегги-Энн?

— Нет, честное слово! Вот спроси ее! Это из-за того, что… ну просто она трусиха, задрожала — хвост поджала.

Кольцо ребятни теснее сдвинулось вокруг Мышки; озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков.

— Вот сюда и еще сюда, — бормотала она.

— У тебя что-то не ладится? — спросила миссис Моррис.

— Бур застрял. На полдороге. Нам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут.

— Может, я вам помогу?

— Нет, спасибо. Я сама.

— Ну хорошо. Через полчаса мыться, я тебя позову. Устала я на вас смотреть.

Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое кресло начало массировать ей спину. Дети, дети… У них и любовь, и ненависть — все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Странный народ дети. Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Как знать… А если ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?

Время шло. За окнами воцарилаеь странная, напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала.

Пять часов. Где-то в доме тихонько, мелодично запели часы: «Ровно пять, ровно пять, надо время не терять!» — и умолкли.

Урочный час. Час вторжения.

Миссис Моррис засмеялась про себя.

На дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулась. Мистер Моррис вышел из машины, захлопнул дверцу и окликнул Мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся, постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо.

— Добрый вечер, родная.

— Добрый вечер, Генри.

Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат, все тихо. Слишком тихо.

Муж выколотил трубку и набил заново.

Ж-ж-жж.

— Что это? — спросил Генри.

— Не знаю.

Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать — и не сказала. Смешно. Нервы расходились.

— Дети ничего плохого не натворят? — промолвила она. — Там нет опасных игрушек?

— Да нет, у них только трубы и молотки. А что?

— Никаких электрических приборов?

— Ничего такого, — сказал Генри. — Я смотрел.

Мэри прошла в кухню. Жужжанье продолжалось.

— Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже шестой час. Скажи им… — Она прищурилась. — Скажи, пускай отложат вторжение на завтра.

Она засмеялась не очень естественным смехом.

Жужжанье стало громче.

— Что они там затеяли? Пойду, в самом деле, погляжу.

Взрыв!

Глухо ухнуло, дом шатнуло. И в других дворах, на других улицах громыхнули взрывы.

У Мэри Моррис вырвался отчаянный вопль.

— Наверху! — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая.

Быть может, она что-то заметила краем глаза; быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Некогда спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай! С воплем она кинулась вверх по лестнице. Не понимая, о чем она, муж бросился следом.

— На чердаке! — кричала она. — Там, там!

Жалкий предлог, но как еще заставишь его скорей подняться на чердак. Скорей, успеть… о боже!

Во дворе — новый взрыв. И восторженный визг, как будто для ребят устроили невиданный фейерверк.

— Это не на чердаке! — крикнул Генри. — Это во дворе!

— Нет, нет! — задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. — Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!

Наконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд. Неудержимо. Наружу рвались неосознанные подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебродили в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра и которые она так здраво, трезво и рассудительно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее.

— Ну вот, ну вот, — всхлипывая, она прислонилась к двери. — Тут мы в безопасности до вечера. Может, потом потихоньку выберемся. Может, нам удается бежать!

Теперь взорвался Генри, но по другой причине:

— Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ? Знаешь, милая моя!..

— Да, да, пускай рехнулась, если тебе легче так думать, только оставайся здесь!

— Хотел бы я знать, как теперь отсюда выбраться!

— Тише. Они услышат. О господи, они нас найдут…

Где-то близко — голос Мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг зажужжало, зашипело, поднялся визг, смех. Внизу упорно, настойчиво гудел сигнал видеофона — громкий, тревожный. «Может, это Элен меня вызывает, — подумала Мэри. — Может, она хочет мне сказать… то самое, чего я жду?»

В доме раздались шаги. Гулкие, тяжелые.

— Кто там топает? — гневно говорит Генри. — Кто смел вломиться в мой дом?

Тяжелые шаги. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят пар ног. Пятьдесят непрошеных гостей в доме. Что-то гудит. Хихикают дети.

— Сюда! — кричит внизу Мышка.

— Кто там? — в ярости гремит Генри. — Кто там ходит?

— Тс-с. Ох, нет, нет, нет, — умоляет жена, цепляясь за него. — Молчи, молчи. Может быть, они еще уйдут.

— Мам! — зовет Мышка. — Пап!

Молчание.

— Вы где?

Тяжелые шаги, тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это Мышка их ведет.

— Мам? — Неуверенное молчание. — Пап? — Ожидание, тишина.

Гуденье. Шаги по лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех — легкие, Мышкины.

На чердаке отец и мать молча прижались друг к другу, их бьет дрожь. Электрическое гуденье, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой, нетерпеливый голос Мышки — все это, непонятно почему, проняло наконец и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке, его трясет.

— Мам! Пап!

Шаги. Новое негромкое гуденье. Замок плавится. Дверь настежь. Мышка заглядывает внутрь чердака, за нею маячат огромные синие тени.

— Чур-чура, я нашла! — говорит Мышка.

Рэй Брэдбери
Ракета

Ночь за ночью Фиорелло Бодони просыпался и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стряпни Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Это уносятся в дальний путь неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Ну и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

На самом берегу безмолвно струящейся реки, на корзине из-под молочных бутылок, сидел старик и тоже следил за взлетающими в полуночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Надо же воздухом подышать.

— Вон как? Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь. Одни богачи делают что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ! Как же! Восемьдесят лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья… — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки, — оборвал старик. — Вот богачам, тем все можно — и мечтать, и в ракетах летать.

Бодони помолчал.

— Послушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Для своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слушаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решился окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! —

Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к Господу Богу. Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие, и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего.

— Но…

— А допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет — что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бодони, купи ты себе лучше новый резальный станок, без него тебе и впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку — в глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не сомкнул глаз. Беспокойно спали дети, рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату вбежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по двенадцать пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Паоло.

— Она взлетела и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.

— Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.

Дети с недоумением посмотрели на отца. Он не часто повышал голос. Бодони поднялся.

— Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.

Дети восторженно завопили.

— Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас. Так кто полетит?

— Я, я, я! — наперебой кричали дети.

— Ты, — сказала Мария.

— Нет, ты, — сказал Бодони.

И все замолчали. Дети собирались с мыслями.

— Пускай летит Лоренцо, он самый старший.

— Пускай летит Мириамна, она девочка!

— Подумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария. Но глаза ее смотрели как-то странно, и голос дрожал. — Метеориты, как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.

— Чепуха. Ты тоже умеешь.

Всех била дрожь.

— Ну, так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.

Каждый по очереди сосредоточенно тащил прутик.

— Длинный.

— Длинный.

Следующий.

— Длинный.

Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.

Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.

— Теперь ты, Мария, — прошептал он.

Она вытянула прутик.

— Короткий, — сказала она.

— Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью, и с облегчением. — Мама полетит на Марс.

Бодони силился улыбнуться.

— Поздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.

— Обожди, Фиорелло.

— На той неделе и полетишь, — пробормотал он.

Дети смотрели на мать — у всех крупные прямые носы, и все губы улыбаются, а глаза печальные. Медленно она протянула прутик мужу.

— Не могу я лететь.

— Да почему?!

— Я должна думать о будущем малыше.

— Что-о?

Мария отвела глаза.

— В моем положении путешествовать не годится.

Он сжал ее локоть.

— Это правда?

— Начните сначала. Тяните еще раз.

— Почему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.

— Да как-то к слову не пришлось.

— Ох, Мария, Мария, — прошептал он и погладил ее по щеке. Потом обернулся к детям: — Тяните еще раз. И тотчас Паоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс! — Он запрыгал от радости. — Вот спасибо, папа!

Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Паоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь? — неуверенно спросил он.

— Правда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Паоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли.

— Никто не полетит, — сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее, — сказала Мария.

— Браманте прав, — сказал Бодони.

После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, не разъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься как рыба об лед, чтобы выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз? — рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо! — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Понятно, она не настоящая, — сказал Мэтьюз. — Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготовляют модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал — шепну тебе по секрету. Ну что ж…

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Понятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела…

— Ясно.

— Если я и куплю эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Понимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий.

— Привозите вашу ракету, — сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше, — сказал Бодони. — Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд Бодони смотрел на нее с нежностью Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя, — сказал он. — Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места, пускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы

носить на цепочке, как брелок.

— Пожалуй, сегодня я в ней и переночую, — взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гудение становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони перелетали с рычага на рычаг, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотится, вот-вот выскочит.

— Старт! — пронзительно кричит он.

Толчок! Громовой рев!

— Луна! — кричит он. — Метеориты! — кричит он, не видя, изо всех сил зажмурив глаза.

Неслышный головокружительный полет в багровом пляшущем зареве.

— Марс, о Господи, Марс! Марс!

Задыхаясь, он без сил откачнулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с рычагов управления, голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша, реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Перед ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, светились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то раскрывались во всю ширь, то становились как щелки. Потом он оставил резак и пошел прочь и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться Они только кричали, перебивая друг друга.

Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она — Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.

— Межпланетные корабли стоят миллионы Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторил Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно! Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это… на такое! Надо было купить инструмент, а ты…

— Погоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и тюки; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-престарых автомобильных моторов. Потом запаял отсек наглухо, чтобы никто не мог подсмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солнце уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она. — Какую уж там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Послушай, Мария…

— Она взорвется. Да тебе с ней и не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку:

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Не бойся.

— Погубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята. Пойдем со мной.

— До свиданья, мама! До свиданья!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед.

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — мы летим на неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах, и на ощупь. Смотрите. Запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Герметическая дверь тамбура со свистом закрылась за ними. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в подвесные койки и пристегнул широкими ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт!

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Смотрите, вот Луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверком проносились метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя он помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам и смотрели во все глаза.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня; у детей уже слипались глаза. И наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку.

Дверца люка распахнулась. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали? Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета и ткет волшебный сон. Содрогается, и рычит, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями,

закрыл глаза и мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не нарушало иллюзию. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман Только бы должный срок прошел и ничего не случилось.

Он проснулся

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс

— Папа! — Дети старались вырваться из гамаков. Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье!

На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома, — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор оживленные, сияющие.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидала Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Поздно ночью Бодони открыл глаза Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскрикнул он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной слетаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко — пожалуй, — сказал он.

— Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

Рэй Брэдбери
Здравствуй и прощай

Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь: настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию, — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О Господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я вам буду писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его

щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли…

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну, и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменил родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там, на зеленой лужайке, ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом — голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда тебе исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве: ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему, вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они

топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места…

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтоб уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик-Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне…

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, что ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?..

И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть… можно… можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом…

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостя…

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости, да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девятеро из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй — не воюй, плачь — не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей… вот были бы у меня детишки…» И все качал головой. А я как сидел неподалеку, с куском мяса на вилке, так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я

понял, мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегаю на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтобы мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощенья», — сказал я. И улыбнулся ему…

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И, наверно, хочется… разного… что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало…

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому, — пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего… пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом… еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно… — Он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свидания!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на

деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей, взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два — голова, три-четыре — отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне… Он проснулся и взглянул в окно, на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено… — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редеет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то

крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо! — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе, — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустые улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом — и вступил в новый город.

Рэй Брэдбери
Убийца

Музыка сопровождала его по белым коридорам. Он прошел несколько дверей с надписями: на одной — «Вальс веселой вдовы», на другой — «Полуденный сон фавна», на третьей — «Поцелуй меня еще раз»… Свернул в боковой коридор, и тут дробью барабанов, дребезжанием чугунков, кастрюль, ножей, вилок, словом, громом металла ему в уши ударил «Танец с саблями». Все это заглохло, как только он спешно вышел в вестибюль. Здесь завороженная Пятой симфонией Бетховена разместилась секретарша, она даже не заметила, когда он промелькнул у нее перед глазами.

Зазвенел наручный радиотелефон.

— Слушаю.

— Папа, это Ли. Не забудь вовремя прислать мне деньги.

— Ладно, сынок. Ладно. Я очень занят.

— Только не забудь, папа, — просил голос по радио, но его заглушила музыка из «Ромео и Джульетты» Чайковского и заскользила по длинному коридору.

Психиатр шел по этому коридору, а он гудел, будто улей. Мелодии накладывались одна на другую. Стравинский соревновался с Бахом, Гайдн напрасно пытался выстоять против Рахманинова, Дюк Эллингтон расправлялся с Шубертом. Психиатр кивал секретаршам, которые мурлыкали себе под нос, и врачам, которые бодро насвистывали, спеша на работу. У себя в кабинете психиатр вместе со стенографисткой, тоже тихо напевающей, просмотрел кое-какие бумаги. Потом позвонил на верхний этаж капитану полиции. Через несколько минут вспыхнула красная лампочка, и откуда-то из-под потолка прозвучал голос:

— Арестованный доставлен в комнату номер девять.

Психиатр отомкнул двери камеры, вошел и услышал, как они клацнули позади.

— Убирайтесь прочь, — сказал арестованный, улыбаясь.

Его улыбка поразила психиатра. Такая жизнерадостная, приветливая и теплая, она будто осветила помещение. Рассвет в темном ущелье, полнолуние глубокой ночью — такой была эта улыбка. Голубые глаза спокойно сияли над ослепительно белой полоской зубов.

— Я пришел помочь вам, — сказал психиатр, хмурясь. Что-то в комнате было не так. Он почувствовал это, лишь только вошел.

И сейчас с недоумением оглядывался вокруг. Арестованный засмеялся:

— Если вас удивляет, почему тут так тихо, то я только что разбил радио.

«Агрессивный», — подумал врач. Угадав его мысль, арестованный усмехнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет, нет, я воюю только с шумными аппаратами.

На сером линолеуме были разбросаны обрывки проводов и детали настенного радиоприемника. Не обратив на это внимания и чувствуя на себе усмешку, будто тепло от рефлектора, психиатр сел напротив пациента в непривычной тишине, как бы предвещавшей бурю.

— Вы мистер Алберт Брок, который называет себя Убийцей?

Брок приветливо кивнул.

— Прежде чем мы начнем беседу… — Молниеносным движением Брок сорвал с запястья доктора радиотелефон, ухватил его зубами и стал разгрызать, а когда послышался треск, вернул аппарат ошеломленному психиатру с таким видом, будто сделал приятную услугу. — Вот так-то лучше.

Врач ошеломленно смотрел на изувеченный радиотелефон.

— Вам придется заплатить довольно-таки значительную сумму.

— Пустое, — усмехнулся пациент. — Как в той старой песенке: «Не обращай внимания, что бы ни случилось со мной — все пустое». — И он промурлыкал мелодию.

— Может, начнем? — сказал психиатр.

— Хорошо. Первой моей жертвой, или одной из первых, стал мой телефон… То было циничное убийство. Я запихнул его в кухонный комбайн! Заглотнув аппарат наполовину, агрегат вышел из строя. Бедняга подавился. Потом я расстрелял телевизор!

— Гм… — промычал психиатр.

— Я всадил шесть пуль в катодную трубку, и телевизор разлетелся с тихим звоном, словно упала и разбилась хрустальная люстра…

— У вас богатое воображение.

— Благодарю, я всегда мечтал быть писателем.

— Лучше скажите, когда впервые вы ощутили ненависть к телефону?

— Я боялся его еще в детстве. Дядька называл телефон механизмом привидением. Бестелесные голоса. Они пугали меня до безумия. И в конце концов лишили меня покоя в жизни. Телефон представлялся мне чем-то на удивление бездушным. Если ему вздумается, он пропустит твою личность через свои

провода. А нет, то профильтрует ее до такой меры, что на другой конец провода. дойдет лишь резкий, холодный, будто рыба на ощупь, голос — само железо, медь, пластмасса и никакого тепла, ничего живого. По телефону легко сказать не то, что у тебя на уме, телефон перекручивает смысл твоих слов. Ты остро усваиваешь, что это твой враг. И вместе с тем телефон — такая удобная вещь. Стоит себе в уголке и искушает тебя: а ну позвони кому-нибудь, кто не желает, чтобы его волновали. От приятелей беспрерывно звонки, звонки. Черт бы его побрал, я совсем не имел собственного времени. Если не телефон, то телевизор, радио, проигрыватель. Если не они, то кино на углу улицы, где фильмы и реклама демонстрируются на тучах, что нависают низко над землей. Вместо капель дождя капли мыла. Если не реклама на тучах, то музыка Моззека в каждом ресторане. Музыка и реклама в автобусах, которыми я ездил на работу. А если не музыка, то селектор в офисе. И самое страшное — наручный радиотелефон, по которому каждые пять минут звонили друзья или жена. Почему средний человек так любит все эти приборы? Потому что каждый верит, будто сам распоряжается своим временем. Вот, мол, если на руке у меня телефон, то почему не звякнуть другу Джо, а? «Алло, алло!..» Я люблю своих друзей, свою жену, люблю детей, но когда в один прекрасный момент жена звонит, только чтобы спросить: «Любимый, а ты сейчас где?»; друг звонит и начинает: «Сейчас я расскажу тебе такой анекдот, что умрешь со смеху. Как-то один тип…»; кто-то незнакомый звонит и орет; «Файн-Факс проводит опрос! Какую резинку жуете вы в данный момент?» — то тут уже не до любви!

— Как вы себя чувствовали на протяжении последней недели?

— На пределе. Будто стоял на краю пропасти. Пока не учинил одну штуку в офисе.

— Что именно?

— Я выплеснул стакан воды в систему внутренней связи.

Психиатр сделал запись в своем блокноте.

— И система замкнулась?

— Еще как! Четвертого июля — все на колесах! Боже праведный, стенографистки напрочь растерялись! Ну и крик подняли!

— И вы сразу почувствовали облегчение?

— Огромное! Потом мне пришла мысль раздавить на тротуаре свой наручный радиотелефон. Я вытоптал из него душу как раз, когда до меня долетел чей-то пронзительный голос: «Опрос гражданской мысли номер девять! Чем вы сегодня позавтракали?»

— И вы чувствовали себя еще лучше, да?

— Конечно! — от удовольствия Брок потер ладони. — Почему бы мне не начать, подумал я, личную резолюцию, поставив целью спасение человека от различных удобств? Удобно для кого? Прежде всего для твоих приятелей. «Привет, Эл. Решил позвонить тебе из раздевалки, тут, в Зеленых Горах. Ну и поиграл я тут! Чудесный выдался денечек. Только что глотнул виски. Думаю, тебе интересно об этом узнать, Эл!» Удобно для моего офиса, так как даже если я выезжаю за город в своем радиофицированном автомобиле, со мной тут же можно войти в контакт! Войти в контакт! Что за похабное выражение! Войти в контакт, черт возьми! Схватить меня! Терзать, глушить радиомодулированными голосами. Ты не можешь выйти из авто, не предупредив: «Остановился около заправочной станции, чтобы зайти в уборную». — «Хорошо, Брок, сбегайте!..» — «Почему так долго, Брок?» «Извините, сэр». — «Чтобы такого больше не повторялось, Брок». — «Слушаюсь, сэр». И знаете, доктор, что я сделал? Я купил килограмм французского шоколадного мороженого и накормил им автомобильное радио.

— Вы решили накормить передатчик именно французским шоколадным мороженым по какой-то особенной причине?

Брок задумался и улыбнулся.

— Это мой любимый сорт.

— Вот как, — пробормотал врач.

— То, что годится для меня, подумал я, подойдет и для радиопередатчика.

— А что вас заставило положить в радио именно мороженое?

— В тот день была жара.

Врач немного помолчал.

— И что потом?

— Потом настала тишина. Господи, это было чудесно. Ведь радио квохтало целый день. «Брок, идите сюда, Брок, идите туда! Брок, сообщите, когда придете! Брок, дайте знать, когда уйдете! Ладно, Брок, пора завтракать! Брок, завтрак закончился! Брок, Брок, Брок, Брок…» Одним словом, наступила такая тишина, словно я поналожил мороженого себе в уши.

— Вы, наверное, очень любите мороженое?

— Я будто плыл на волнах тишины. Или лежал на чем-то очень мягком. Тишина. Целый час тишины. Я просто сидел себе в машине и улыбался. Я опьянел от воли!

— Продолжайте.

— Потом я вспомнил о портативной диатермичной машинке. Я взял ее напрокат и прихватил с собой вечером, когда возвращался автобусом домой. Утомленные пассажиры сидели и

все как один переговаривались по наручному радио с женами, сообщая: «Сейчас я на сорок четвертой линии, теперь на сорок девятой, а вот поворачиваем на шестьдесят первую». — «Убирайся из бара, иди домой, готовь ужин — я уже на семидесятой!» — ругался какой-то муж. Из автобусного динамика звучали «Сказки Венского леса», сладенький голос напевал про высококачественные пшеничные хлопья. Но вот я включил диатермию! Статика! Непроходимые повреждения! Всех жен отрезало от мужей, которые рассказывали про тяжелый день в офисе! Всех мужей отрезало от жен, которые только-только собирались рассказать о том, как их чадо разбило окно. Взорвался «Венский лес», замолк сладенький голос. Тишина! Страшная, неожиданная тишина! Пассажиры оказались под угрозой того, что придется разговаривать друг с другом. Паника! Дикая, животная паника!

— Полиция схватила вас?

— Автобус пришлось остановить. Ведь смолкла музыка, мужья и жены утратили ощущение реальности. Суета, беспорядок, хаос. Они крутились, словно белки в колесах. Но приехала машина технической помощи, меня сразу же выявили, оштрафовали, отобрали машинку. Я и глазом не успел моргнуть, как очутился дома.

— Мистер Брок, а вам не кажутся все эти ваши дела, ну, не совсем целесообразными? Если вам не по нутру динамики в городском транспорте, радио в офисе или служебные передатчики в автомобилях, то почему вы не вступили в союз радионенавистников, не подавали петиций, не добивались судебных постановлений в рамках конституции? На то, в конце концов, и существует демократия.

— А я принадлежу к тем, кого называют меньшинством, — пояснил Брок. — Я уже и в союз вступал, и участвовал в пикетах, и петиции подавал, и судился. Я протестовал из года в год… А все хохотали. Всем другим нравились автобусные приемники и рекламные фильмы. Только я шел не в ногу.

— В таком случае вы должны были вести себя как дисциплинированный солдат, неужели вы этого не понимаете? Порядки устанавливает большинство.

— Они зашли слишком далеко. Они утратили чувство меры. А я потерял терпение. Прихожу домой — жена в истерике. В чем дело? Она, видите ли, полдня не имела со мною контакта. Помните, я танцевал на своем наручном радио? Так вот, в тот вечер у меня возник план убить свой дом.

— Вы уверены, что я могу записать ваши слова именно так?

— Это как раз точно по смыслу. Ведь мой дом, как многие

другие, разговаривает, поет, играет, прогнозирует погоду, декламирует стихи, читает вслух романы, дребезжит, убаюкивает меня, когда время спать. Дом, который исполняет оперу, когда ты принимаешь душ, и учит испанскому языку, когда ты спишь. Дом, похожий на звонкую пещеру, где неумолчно болтают всякие электронные оракулы, а ты ощущаешь себя не более чем наперстком. Дом, в котором духовки произносят: «Я абрикосовый пирог, я уже испекся». — «Я говядина, меня уже время поливать». Или несут всякую тарабарщину наподобие этого. Дом, в котором кровати усыпляют тебя, а когда время просыпаться трясут. Дом, что насилу выносит людей. «У вас грязные ноги, сэр!» — гавкают входные двери. А электронный пылесос, будто собака, обнюхивает комнату за комнатой, подбирая следом за тобой каждый обрезок ногтя или порошинку пепла от сигары. Господи, услышь меня, оглянись!

— Успокойтесь, — сказал психиатр.

— Помните ту песенку Гилберта и Салливэна: «Абсолютно все я запишу, чтобы не забыть…» Целую ночь я вспоминал свои обиды. А следующим утром добыл пистолет. Я нарочно вымазал обувь в грязище и стал перед парадными дверями. Само собой, они заверещали: «На ногах у тебя грязь! Вытри их, опрятным будь!» Я застрелил чертову дверь, всадив пулю в замочную скважину. И метнулся в кухню, где как раз заныла духовка: «Переверни меня». Она успела лишь до половины приготовить свой машинный омлет, когда я убил ее. О, как она шипела и стонала: «Перегораю!» Потом, будто разбалованное дитя, растрезвонился телефон. Я запихнул его в кухонный комбайн. Хотя против самого комбайна я ничего не имел — он пострадал как безвинный свидетель. Мне жалко его теперь, это действительно очень полезный прибор, который никогда и словом не обмолвился, только бормотал, будто сонный лев, и поглощал наши объедки. Его я отремонтирую. Потом, уничтожив телефон, я зашел в гостиную и расстрелял телевизор; этого подлого хищника, эту медузу, что каждый вечер превращает в камень миллиарды людей, приковывая к себе их застывшие взгляды; эту сирену, что поет, заманивая и обещая так много, а дает так мало. Я и сам раз за разом обращался к нему, все на что-то надеясь, и все же, наконец… бах! Вереща, будто безмозглый индюк, моя жена выскочила из двери и подняла крик. Приехала полиция. И вот я тут!

Он самодовольно откинулся на стуле и прикурил сигарету.

— А давали ли вы себе отчет, когда творили эти преступления, что наручное радио, передатчик в автомобиле, телефон, автобусный динамик, селекторная система в офисе —

все это было взято напрокат или являлось чьей-то собственностью?

Психиатр сидел, озаренный блаженной улыбкой пациента.

— Так вы не потребуете помощи от Института психического здоровья? Вы готовы взять всю ответственность на себя?

— Это только начало, — подчеркнул мистер Брок. — Я выступаю в авангарде меньшинства, у которого нет уже сил выносить шум. Ни одного мгновения без музыки, без контакта с чьим-либо голосом, где бы ты ни был: сделай это, сделай то, быстро, быстро, иди-ка сюда, иди-ка туда. Вы еще увидите. С меня начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм… — Психиатр будто задумался.

— Конечно, до массовых волнений еще далеко. Ведь поначалу все эти вещи казались такими привлекательными, такими практично-выгодными. Но люди слишком увлеклись, слишком далеко зашли и, втянувшись в определенный стереотип социального поведения, не могут из него выйти. Более того, они не осознают, что попали в ловушку. Как и все другое, они просто рационализировали свои нервы. «Наш современный век», — говорят одни; «Условия», — вторят другие; «Стресс», — поясняют третьи. Но, запомните мои слова, зерно кинуто. Обо мне всему миру поведало телевидение, кино, радио — вот в чем ирония! С тех пор уже минуло пять дней. И миллиарды людей знают обо мне. Внимательно проглядывайте финансовые полосы газет и однажды, может быть, сегодня, вы заметите, как увеличится, вырастет на глазах продажа французского шоколадного мороженого!

— Мне все ясно, — сказал психиатр.

— Так вы позволите теперь мне вернуться в мою чудесную одиночную камеру, где я смогу провести в тишине и одиночестве целых полгода?

— Конечно, — задумчиво ответил психиатр.

Он нажал на замаскированную кнопку, двери открылись и, когда он вышел, закрылись и сами замкнулись. Он шел по коридорам в одиночестве. Первые двадцать шагов его сопровождал «Китайский тамбурин». Потом — «Цыганка», «Пассакалия» и «Фуга в минорных тонах» Баха, «Тай-гер-рег», «Любовь — это как сигарета». Психиатр достал из кармана сломанный наручный радиотелефон, похожий на мертвого жука, вошел в свой кабинет. Прозвучал звонок, и из-под потолка раздался голос:

— Вы пришли, доктор?

— Я только что закончил с Броком, — ответил психиатр.

— Диагноз?

— Создает впечатление абсолютно дезориентированного и вместе с тем коммуникабельный. Отказывается признавать наипростейшие реалии окружения и сосуществовать с ними.

— Прогноз?

— Неуверенный. Когда я оставлял его, он баловался воображаемым лоскутком материи.

Зазвонили три телефона. Будто раненый кузнечик, застрекотал в углу запасной радиоприемник. Мигнул розовой лампочкой и клацнул селектор. Снова зазвонили три телефона. Сквозь приоткрытые двери донеслась музыка. Тихо напевая, психиатр приспособил себе на запястье новый радиотелефон, нажал клавишу селектора и какое-то время говорил. Потом снял трубку с настольного телефона — поговорил, с другого — поговорил, с третьего — поговорил; нажал кнопку наручного радио — поговорил, спокойно и уверенно, на лице ни тени озабоченности или беспокойства. Вокруг звучала музыка и вспыхивали лампочки, снова и снова звонили телефоны, трещало радио, громко говорили селекторы, звучали голоса из-под потолка. Так психиатр и провел всю вторую половину этого прохладного, напоенного кондиционированным воздухом, такого долгого дня. Телефон, радио, селектор, телефон, радио, селектор, телефон, радио, селектор, телефон, радио…

Рэй Брэдбери
Пешеход

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от Рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он один или все равно что один; и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начни он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели, и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на

выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и стоять не шевелясь, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретить человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы окружают тебя в твоем одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что это — в доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже похожи на русла рек, обнаженные засухой — каменное ложе молча стынет в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как завороженный, двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но… — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, не так ли? Еще год назад, в 2052-м — в год выборов — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция

стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, людей не разглядеть.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла жука в коллекции.

— Можно сказать и так, — согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. «Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам», подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий, — прошипел механический голос. — Что вы делаете на улице?

— Гуляю, — сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю, — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет? — Молчание, только что-то потрескивает, и это — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат, — произнес жесткий голос за слепящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась, — с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы просто гуляли, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимаетесь?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то дохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мистер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но…

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой на одной только улице во всем этом городе темных домов — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи больше ни звука, ни движения.

Рэй Брэдбери
Пустыня

«Итак, настал желанный час…» Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неутомимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпеж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от Рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе, голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревовещателей, проповедников, гадалок, глупцов, школяров, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час -
И мы летим, летим на Марс!
Пять тысяч женщин в небесах
Творить сумеют чудеса!

— Такую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чуточку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую, не больше спичечной, коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Окорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец — длиннейший, нескончаемый список! А теперь захвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часиков — и будешь сыт, странствуя не просто от Форта Ларами до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго-долго она задыхалась в том чулане, — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слыхал ее криков. Совсем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную пустоту, и только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им наконец о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма, и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и наконец дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — она подошла наконец к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полутемной

комнате оно казалось призраком.

— Странно это… выйти замуж на другой планете.

— Пойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по светофону за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле…

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернутся. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на североамериканском континенте, который омывают два океана — с одной стороны Атлантический, с другой — Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они страшились посмотреть в лицо этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис. Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты… И все, все останется позади! Ну зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Потом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетают на другой край Вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура дурой.

— Ну и я буду дурой, — сказала Леонора и поднялась. — Пойдем-ка погуляем на прощание. Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода.

— Пойдем.

Отворили наконец дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царило небывалое оживление. То ли распускались огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное ночное небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу разрумянившиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые? — сказал им продавец за стойкой.

— Два стакана шоколада на солоде, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.

— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решилась лететь. Я тебе сразу не сказала. Посмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать.

Уйм

Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом, а вокруг алели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на улице Вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе всмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не найдешь на Земле. Почва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывали уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплый желтый прямоугольник — это светится окно гостиной.

— Молодчина Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора — пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевитой бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат две гравизащитные куртки — наряд, в котором стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, понеслись над городом.

— Все равно куда, — сказала Леонора. — Куда глаза глядят.

Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полную яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги, еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под луной стрекочущих вертолетах, и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко…

Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых

и ярких огней… и все же город был уже недосягаем, уже только видение, затянутое дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Покачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощание в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамах освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, перекликнутся голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце…

«Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать лет: весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлебнется черная дверь».

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед

домом Джейнис. Город уже спал, дом Джейнис им тоже сулил покой и сон, но обеим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий.

— Да:

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Хотела бы я, чтоб это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не одно, так другое — отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяет: «Алло, алло!» В большом далеком городе техник готовится включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждут — одна, вся побелев, сидит с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем — только звезды и время — нескончаемое ожидание, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошил стежками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис! Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту. Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот… я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась…

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь,

когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если б какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров и на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

«Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светофона потрескивало — само пространство говорило с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слова захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли… как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— …люблю…

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнца, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора. У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, эта радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Она сидела и вслушивалась, и даже не

заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в нем — дыхание долгих странствий среди мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи, но неведомое время без границ и пределов; а потом голоса смолкают, заглушенные то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

«Так вот как бывало столетие с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат волы, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи полнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дорогу, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убегали вперед и в страхе прибегали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот как было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?»

Дремотные мысли путались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

Рэй Брэдбери
Погожий день

О человеке, который больше всего в жизни любил искусство

Однажды летним полднем Джордж и Элис Смит приехали поездом в Биарриц и уже через час выбежали из гостиницы на берег океана, искупались и разлеглись под жаркими лучами солнца.

Глядя, как Джордж Смит загорает, развалясь на песке, вы бы приняли его за обыкновенного туриста, которого свеженьким, точно салат-латук во льду, доставили самолетом в Европу и очень скоро пароходом отправят восвояси. А на самом деле этот человек больше жизни любил искусство.

— Ну вот… — Джордж Смит вздохнул. По груди его поползла ещё одна струйка пота. Пусть испарится вся вода из крана в штате Огайо, а потом наполним себя лучшим бордо. Насытим свою кровь щедрыми соками Франции и тогда все увидим глазами здешних жителей.

А зачем? Чего ради есть и пить все французское, дышать воздухом Франции? Да затем, чтобы со временем по-настоящему постичь гений одного человека.

Губы его дрогнули, беззвучно промолвили некое имя.

— Джордж? — Над ним наклонилась жена. — Я знаю, о чем ты думаешь. По губам прочла.

Он не шевельнулся, ждал.

— Ну и?..

— Пикассо, — сказала она.

Он поморщился. Хоть бы научилась наконец правильно произносить это имя.

— Успокойся, прошу тебя, — сказала жена. — Я знаю, сегодня утром до тебя докатился слух, но поглядел бы ты на себя — опять глаза дергает тик. Пускай Пикассо здесь, на побережье, в нескольких милях отсюда, гостит у друзей в каком-то рыбачьем поселке. Но не думай про него, не то наш отдых пойдет прахом.

— Лучше бы мне про это не слышать, — честно признался Джордж.

— Ну что бы тебе любить других художников, — сказала она.

Других? Да, есть и другие. Можно недурно позавтракать натюрмортами Караваджо — осенними грушами и темными, как полночь, сливами. А на обед брызжущие огнем подсолнухи Ван Гога на мощных стеблях, их цветенье постигнет и слепец, пробежав обожженными пальцами по пламенному холсту. Но

истинное пиршество? Полотна, которыми хочешь по-настоящему насладиться? Кто заполнит весь горизонт от края до края, словно Нептун, встающий из вод в венце из алебастра и коралла, когтистые пальцы сжимают подобно трезубцу большущие кисти, а взмах огромного рыбьего хвоста обдаст летним ливнем весь Гибралтар, — кто, если не создатель «Девушки перед зеркалом» и «Герники»?

— Элис, — терпеливо сказал Джордж, — как тебе объяснить? Всю дорогу в поезде я думал: Боже милостивый, ведь вокруг — страна Пикассо!

Но так ли, спрашивал он себя. Небо, земля, люди, тут румяный кирпич, там ярко-голубая узорная решетка балкона, и мандолина, будто спелый плод, под несчетными касаньями чьих-то рук, и клочки афиш — летучее конфетти на ночном ветру… Сколько тут от Пикассо, а сколько — от Джорджа Смита, озирающего мир неистовым взором Пикассо? Нет, не найти ответа. Этот старик насквозь пропитал Джорджа Смита скипидаром и олифой, преобразил все его бытие: в сумерки сплошь Голубой период, на рассвете сплошь — Розовый.

— Я все думаю, — сказал он вслух, — если бы мы отложили денег…

— Никогда нам не отложить пяти тысяч долларов.

— Знаю, — тихо согласился он. — Но как славно думать, а вдруг когда-нибудь это удастся. Как бы здорово просто прийти к нему и сказать: «Пабло, вот пять тысяч! Дай нам море, песок, вот это небо, дай, что хочешь, из старого, мы будем счастливы…»

Выждав минуту, жена коснулась его плеча.

— Иди-ка лучше окунись, — сказала она.

— Да, — сказал он, — так будет лучше.

Он врезался в воду, фонтаном взметнулось белое пламя.

До вечера Джордж Смит окунался и вновь и вновь выходил на берег со множеством других, то опаленных жаркими лучами, то освеженных прохладной волной, и наконец, когда солнце уже клонилось к закату, эти люди с кожей всех оттенков, кто цвета омара, кто — жареного цыпленка, кто белой цесарки, устало поплелись к своим отелям, похожим на свадебные пироги.

На опустелом берегу, что протянулся на мили и мили, остались только двое. Один — Джордж Смит с полотенцем через плечо, готовый совершить вечерний обряд.

А издали, в мирном безветрии, шел по пустынному берегу ещё один человек, невысокий, коренастый. Он загорел сильнее, солнце окрасило его бритую голову в цвет красного дерева, на темном лице светились глаза, ясные и прозрачные, как вода.

Итак, вот он, берег — сцена перед началом спектакля, и через

считанные минуты эти двое встретятся. Снова, в который раз, судьба кладет на чаши весов потрясения и неожиданности, встречи и расставанья. А меж тем два одиноких путника вовсе не задумывались о потоке внезапных совпадений, подстерегающих каждого во всякой толпе, в любом городе. Ни тому, ни другому не приходило на ум, что, если осмелишься погрузиться в этот поток, можно ухватить полные горсти чудес. Подобно многим, они только отмахнулись бы от такого вздора и преспокойно остались бы на берегу, не столкни их в поток сама Судьба.

Незнакомец остановился в одиночестве. Огляделся, увидел, что один, увидел чарующие воды залива и солнце, утопающее в последнем многоцветье дня, потом обернулся и заметил на песке щепочку. То была всего лишь тонкая палочка из-под давно растаявшего лимонного мороженого. Он улыбнулся и подобрал её. Опять огляделся и, уверясь, что он здесь один, снова наклонился и, бережно держа палочку, легкими взмахами руки стал делать то, что умел лучше всего на свете.

Он стал рисовать на песке немыслимые фигуры. Набросал одну, шагнул дальше и, не поднимая глаз, теперь уже весь поглощенный работой, нарисовал ещё одну, потом третью, четвертую, пятую, шестую…

Джордж Смит шел по берегу, оставляя следы на песке, глядел вправо, глядел влево, потом увидел впереди незнакомца. Подходя ближе, Джордж Смит увидел, что человек этот, бронзовый от загара, низко наклонился. Джордж Смит подошел ещё ближе и понял, чем тот занимается. И усмехнулся. Ну да, конечно… этот тип на берегу — сколько ему, шестьдесят пять, семьдесят? что-то там выцарапывает, чертит. Песок так и летит во все стороны! Нелепые образы так и разлетаются по берегу! И так…

Джордж Смит сделал ещё шаг — и замер.

Незнакомец рисовал, рисовал и, видно, не замечал, что кто-то стоит у него за плечом, рядом с миром, возникающим под его рукой на песке. От всего отрешенный, он был одержим вдохновением: взорвись в заливе глубинные бомбы, даже это не остановило бы полета его руки, не заставило бы обернуться.

Джордж Смит смотрел на песок. Долго смотрел, и вот его бросило в дрожь.

Ибо здесь, на гладком берегу, возникли греческие львы и козы Средиземноморья, и девы с плотью из песка, словно тончайшая золотая пыльца, играли на свирелях сатиры и танцевали дети, разбрасывая цветы дальше и дальше, скакали следом по берегу резвые ягнята, перебирали струны арф и лир музыканты, единороги уносили юных всадников к далеким лугам и лесам, к руинам храмов и вулканам. Не уставала рука

одержимого, он не разгибался, охваченный лихорадкой, пот катил с него градом, и струилась непрерывная линия, вилась, изгибалась, деревянное стило металось вверх, вниз, вдоль, поперек, кружило, петляло, чертило, шуршало, замирало и неслось дальше, словно эта неудержимая вакханалия непременно должна достичь блистательного завершения прежде, чем волны погасят солнце. На двадцать, на тридцать ярдов и ещё дальше пронеслись вереницей загадочных иероглифов нимфы, дриады, взметнулись струи летних ключей. В закатном свете песок стал точно расплавленная медь, несущая послание всем и каждому, пусть бы читали и наслаждались годы и годы. Все кружило и замирало, подхваченное собственным вихрем, повинуясь своим особым законам тяготения. Вот пляшут на щедрых гроздьях дочери виноградаря, брызжет алый сок из-под ступней, вот из курящихся туманами вод рождаются чудища в кольчуге чешуи, а летучие паруса облаков испещрены узорчатыми воздушными змеями… а вот еще… и еще… и еще…

Художник остановился.

Джордж Смит отпрянул и застыл.

Художник поднял глаза, удивленный неожиданным соседством. Постоял, переводя глаза с Джорджа Смита на свое творение, что протянулось по песчаной полосе, словно следы праздного пешехода. И наконец с улыбкой пожал плечами, словно говоря: смотрите, что я наделал, видали такое ребячество? Ведь вы меня извините? Рано или поздно всем нам случается свалять дурака… может быть, и с вами бывало? Так простим старому сумасброду эту выходку, а? Вот и хорошо!

Но Джордж Смит только и мог смотреть на невысокого человека с высмугленной солнцем кожей и ясными зоркими глазами да единственный раз еле слышно прошептал его имя.

Так они стояли, пожалуй, ещё секунд пять, Джордж Смит жадно разглядывал песчаный фриз, а художник присматривался к нему с насмешливым любопытством. Джордж Смит открыл было рот — и закрыл, протянул руку — и отдернул. Шагнул к картине, отступил. Потом пошел вдоль вереницы изображений, как шел бы человек, рассматривая бесценные мраморные статуи, оставшиеся на берегу от каких-нибудь древних руин. Он смотрел не мигая, рука жаждала коснуться изображений, но не смела. Хотелось бежать, но он не побежал.

Вдруг он посмотрел в сторону гостиницы. Бежать, да! Бежать! А что дальше? Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти хоть толику ненадежной, сыпучей песчаной ленты? Найти мастера-формовщика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя бы с малой хрупкой доли? Нет, нет. Глупо, глупо.

Или?.. Взгляд его метнулся к окну гостиничного номера. Фотоаппарат! Бежать, схватить аппарат — и скорей с ним по берегу, щелкать затвором, перекручивать пленку, снимать и снимать, пока…

Джордж Смит круто обернулся, глянул на солнце. Теплые лучи коснулись его лица, зажгли два огонька в зрачках. Солнце уже наполовину погрузилось в воду — и на глазах у Джорджа Смита за считанные секунды затонуло совсем.

Художник подошел ближе и теперь смотрел в лицо Джорджу Смиту с бесконечно дружеской добротой, будто угадывал каждую его мысль. И вот слегка кивнул. И вот пальцы его небрежно выронили палочку от мороженого. И вот он уже говорит — до свиданья, до свиданья. И вот он шагает по берегу к югу… ушел.

Джордж Смит стоял и смотрел ему вслед. Так прошла долгая минута, а потом он сделал то, что только и мог. От самого начала он двинулся вдоль фантастического фриза, медленно шел он по берегу мимо фавнов и сатиров, и мимо дев, пляшущих на виноградных гроздьях, и горделивых единорогов, и юношей, играющих на свирели. Долго шел он, не сводя глаз с этой вольно летящей вакханалии. Дошел до конца вереницы зверей и людей, повернул и пошел обратно, все так же опустив глаза, словно что-то потерял и не знает толком, где искать. Так ходил он взад и вперед, пока не осталось света ни в небесах, ни на песке и уже ничего нельзя было разглядеть.

Он сел к столу ужинать.

— Как ты поздно, — сказала жена. — Я не могла дождаться, спустилась в ресторан одна. Я умираю с голоду.

— Ну ничего, — сказал он.

— Интересная была прогулка?

— Нет, — сказал он.

— Какой-то ты странный, Джордж. Ты что, заплыл слишком далеко и чуть не утонул? По лицу вижу! Ты заплыл слишком далеко, да?

— Да, — сказал он.

— Ну хорошо, — сказала жена, не сводя с него глаз. — Только никогда больше так не делай. А теперь… что будешь есть?

Он взял меню, стал просматривать и вдруг застыл.

— Что случилось? — спросила жена. Он повернул голову, зажмурился.

— Слушай.

Жена прислушалась.

— Ничего не слышу, — сказала она.

— Не слышишь?

— Нет. А что такое?

— Прилив начался, — сказал он не сразу, он все ещё сидел не шевелясь, не открывая глаз. — Просто начался прилив.

Рэй Брэдбери
Дракон

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище, Боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти…

— А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой.

— Тсс… слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.

— Ох и места же у нас, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу — ночь. И уж тогда, тогда… Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоесть! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от Рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу, — а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах; не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда; мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане; мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окоемом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась, и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень, и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипенье, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорее!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копья.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на Господа.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, Боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел вовсю, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред. Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

Рэй Брэдбери
Конец начальной поры

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услыхал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена, и, глядя в вечернее небо, он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись, он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд.

И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи Боже, да это просто невозможно, ничего этого нет ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не умещается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой:

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал! А почему? Потому что наконец понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и

думаю — чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах…»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость Божья». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав:

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые и новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше…

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли. Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть…

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать…

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное

отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ.

Пять минут, подумал он. Время идет… тикают часы на руке… колесо в колесе… колесом поменьше движет… колесом побольше движет… высоко в небесах… четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска…

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковре-самолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рожденья или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и как-никак делают нам честь.

Три минуты… две минуты пятьдесят девять секунд… две минуты пятьдесят восемь секунд…

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

Две минуты, подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» — окликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы! Готовы!» — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!»

Сегодня! — думал он. Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и наконец громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова —

да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву.

Одна минута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — Жена порывисто схватила его за руку. — Только бы наш Боб…

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им…

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять…

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Пути.

Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да…

— И все благополучно, правда?

— Да… да…

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они наконец разняли руки.

Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинок огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И, заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить…

— Так ведь ничего не видно.

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим покой и тишина. Круженье колеса — и неслышная поступь раздумья.

Мне миллионы лет от роду, сказал он себе. Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу.

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости.

И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость Божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая, и летит, и ее уже не остановить.

Потом он скосил оставшуюся траву.

Рэй Брэдбери
Запах сарсапарели

Три дня кряду Уильям Финч спозаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само Время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись долгие, серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам.

— А-а, — глубокий вдох.

Внизу жена его Кора то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке — медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи.

— Смех да и только, — пробормотала она.

На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка — он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам и даже собственной жене!

— Чему радуешься? — спросила она.

— Просто настроение хорошее. Отменнейшее! — он засмеялся.

Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем того и гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась:

— Чем это от тебя пахнет?

— Пахнет? Пахнет? Как так — пахнет? — Финч вскинул седеющую голову.

Жена подозрительно принюхалась.

— Сарсапарелью, вот как.

— Быть этого не может!

Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен,

растерян и вдруг насторожился.

— Где ты был утром? — спросила Кора.

— Ты же знаешь, прибирал на чердаке.

— Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету, на чердаке. А это что такое? — она показала пальцем.

— Вот те на, это еще откуда взялось?

Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток.

— Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет назад, рано поутру, и мы были молодые.

— Если ты нынче не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидаю весь хлам.

— Нет, нет! — вскрикнул он. — Я там все разбираю, как мне удобно.

Жена холодно поглядела на него.

За обедом он немного успокоился и опять повеселел.

— А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. Всякий чердак — это Машина времени, в ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавало сразу и снегом, и полотном.

Кора беспокойно поежилась.

«А пожалуй, это возможно, — думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. — Ведь что такое чердак? Тут дышит само Время. Тут все связано с прошедшими годами, все сплошь — куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, полный Временем, и, если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах Прошлого, и, вытянув руки, коснуться Минувшего, тогда — о, тогда…»

Он спохватился: оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела.

— А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во Времени? — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. — И чердак, вроде нашего, самое подходящее для итого место, лучше не сыщешь, верно?

— В старину тоже не все дни были безоблачные, — сказала она. — Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето.

— В некотором смысле так оно и было.

— Нет, не так.

— Я что хочу сказать, — жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникла на голой стене столовой. — Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно-осторожно, от года к году: недельку провести в девятьсот девятом, денек в девятисотом, месячишко или недели две где-нибудь еще, скажем в девятьсот пятом, в восемьсот девяносто восьмом, — и тогда до конца жизни так и не выедешь из лета.

— Что еще за одноколеска?

— Ну знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной? Тут главная хитрость — удерживать равновесие, чтоб не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое — красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое… над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы, сколько их было на свете, а ты знай подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в рав-но-весии.

— Тра-та-та, — сказала она. — Затараторил, тараторка.

Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак, его пробирала дрожь.

Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колючий фейерверк и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь — понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан, и в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима, над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей, точно тяжкий пресс — виноградные гроздья, перемалывает краски и разум и самую жизнь; только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в

чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже — каждый день и каждую нескончаемую ночь.

Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато — вот оно! Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк.

На губах его заиграла улыбка.

Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до Коры сверху доносилось невнятное мужнино бормотанье.

В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои златые», взмахнул новехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать:

— У-у!

— Ты что, проспал, что ли, весь день? — огрызнулась жена. — Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался.

— Проспал? — переспросил он, подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. — Да, пожалуй, что и так.

Тут только она его разглядела.

— Боже милостивый! Где ты раздобыл это тряпье?

На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена.

— Нашел в старом сундуке.

Кора потянула носом:

— Нафталином не пахнет. И выглядит как новенький.

— Нет-нет, — поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе.

— Нашел время для маскарада, — сказала Кора.

— Уж и позабавиться нельзя?

— Только забавляться и умеешь, — она сердито захлопнула духовку. — Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток, можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!

Но Уильям уклонился от ссоры.

— Послушай, Кора… — он потупился, разглядывая что-то на дне новехонькой, хрустящей соломенной шляпы. — Ведь правда, хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям? Ты — под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло… помнишь, как пахло когда-то в аптеке? Почему теперь так

не пахнет? И спросить два стакана сарсапарелевой, а потом прокатиться в нашем «форде» девятьсот десятого года на Хэннегенскую набережную, и поужинать в отдельном кабинете, и послушать духовой оркестр. Хочешь?

— Ужин готов. И сними эти дурацкие тряпки, хватит шута разыгрывать.

Уильям не отступался:

— Ну а если б можно было так: захотела — и поехала? — сказал он, не сводя с нее глаз. — Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?

— На тех дорогах была страшная пылища. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати, — Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее, — нынче утром у меня тут лежало сорок долларов. А сейчас нету! Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки, ни в каком сундуке он не лежал!

— Я… — Уильям осекся.

Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и под речи Коры свинцовое, стылое небо опять пошло сыпать снегом.

— Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое и носить-то нельзя!

— На чердаке… — начал Уильям.

Кора, не слушая, ушла в гостиную.

Снег повалил вовсю, стало холодно и темно — настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище Прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки да Время, в чужой, особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу.

Он опустил крышку люка. Вспыхнул карманный фонарик — другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь — Время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти — и все раскроется, обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами — огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода — и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетушек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось Время. Ощущаешь его дыхание — оно разлито в воздухе, это не просто бездушные колесики и пружинки.

Теперь весь дом там, внизу, был так же далек, как любой

давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак.

Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги, и ранние утра, и полдни такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь Время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета — в цвет сливы, и земляники, и винограда, и свежеразрезанного лимона, и в цвет послегрозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан, это горело Время — и оставалось лишь вглядеться в огонь. Поистине, этот чердак — великолепная Машина времени, да, конечно, так оно и есть! Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня — и вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда — о, тогда!..

Он взмахнул руками — так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр! В голове звучала музыка, плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом — басы, тенора, сопрано, тише, громче, и вот наконец, наконец, аккорд, потрясающий до самых глубин — и он закрывает глаза.

Часов в девять вечера жена услышала его зов:

— Кора!

Она пошла наверх. Муж выглядывал нз чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой.

— Прощай, Кора!

— Что ты такое мелешь?

— Я все обдумал, я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться.

— Слезай оттуда, дурень!

— Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут… Кора!.. — он порывисто протянул ей руку. — В последний раа спрашиваю: пойдешь со мной?

— На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры.

— Я отправляюсь на Хэннегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют

«Над заливом сияет луна». Пойдем, Кора, пойдем…

Его протянутая рука звала.

Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо.

— Прощай, — сказал Уильям.

Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.

— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.

На чердаке темно и тихо.

С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобралась в эту затхлую темень. Поспешно посветила фонариком по углам.

— Уильям! Уильям!

Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.

И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.

Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.

Кора отпрянула.

За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты алые, белые, голубые — рассыпались, гасли…

Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.

— Уильям!

Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла окон там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.

Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.

Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.

Рэй Брэдбери
Икар Монгольфье Райт

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух, и ветер, и восходящую Луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

«Но постойте, — думал он, — подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной Солнцем пустыни, в сотне шагов отсюда меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?»

«Постой-ка! — подумал он и передернулся и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал. — Надо наверняка! Прежде всего кто ты такой?»

«Кто я? — подумал он. — Как мое имя?»

Джедедия Прентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис… Джедедия Прентис…

Ветер подхватил его имя и унес прочь! С воплем спящий пытался его удержать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце — и тогда лишь он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя.

Икар.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

Икар.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал свернувшись лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и, когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск.

— И от моей крови тоже, и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар Солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное, чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

Монгольфье.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана. огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных просторов, в которых спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Райт.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбур? Орвил? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и наконец слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршанье песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хок».

И натянет на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки, — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут

послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к Солнцу, к Луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селениями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, а потом — все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким опереньем. И каждый оставляет за собою эхо полета, и отзвук, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

— Сейчас, — прошептал он, — сейчас я проснусь. Еще минуту…

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина- бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета мечта, готовая воспламениться, — ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил,

запомнит порядок, и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы.

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — «Китти Хок», 1903-й. Окончил курс Земли, переведен на Луну с Божьей помощью сего дня I августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры. Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени этого он тоже не знал. И не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

Рэй Брэдбери
Были они смуглые и золотоглазые

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри, — сказала жена. — Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Пошли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу — и надо было войти в море и утонуть. Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошеный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого. Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу, с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро рассуждал он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно. — Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. — Он посмотрел на детей. — В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь, воспоминания. — Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. — Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия. — Он помолчал. — Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится, — сказал Дэвид. — Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа… на Земле война! — Она громко всхлипнула. — Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упали атомные бомбы! Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики, — начал отец, глядя поверх их голов, — мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем, — сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станется с ним и с его близкими? Марс только и ждал

этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе все назвали по-новому.

Битерингу стало очень, очень одиноко — как не ко времени и не к месту он здесь, в саду, как нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да… нет. Не знаю, — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай — и пахнет не так, как прежде. — Битеринга обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы… они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы. А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отрава. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернусь.

— Гарри, постой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживаетесь тут, как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?»

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слыхать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!

— Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье!

— Ну, чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Разве вы не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

— Сэм, — сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Поможешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь

отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

— Сэм, — вдруг сказал тот, — у тебя глаза…

— Чем плохие глаза?

— Ведь они у тебя были серые?

— Право не помню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?

— А почему ты спрашиваешь?

— Потому что они у тебя стали какие-то желтые.

— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.

— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.

— Может, оно и так.

— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?

— У меня? Голубые, конечно.

— Держи, Гарри, — Сэм протянул ему карманное зеркальце. — Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх, ты, — сказал Сэм. — Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри, — напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть, — сказал он. — Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут, — говорил он, разворачивая чертежи и кальки: на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри, — беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели

марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— Йоррт, — повторил он. — Йоррт.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда!

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем ослаб.

— Да, — сказал он.

Взял сандвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть на часок, — уговаривала Кора. — Поплаваешь, освежишься, это полезно. Он встал, весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу.

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — Он засмеялся. — Поплавать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

Полежать так подольше, думал он, и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари

— зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

«Там, наверху, — безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и…»

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута. — сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся.

— Ты же знаешь Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слыхал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну, пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один…

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены. Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совсем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых все еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плаванья. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело…

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо.

— Куда это?

По пыльной улице движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. — Нет, нет!

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте…

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах…

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. — Пускай Пилланские…

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр, — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погодя. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка поглядела с недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. — Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать — прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Бнтеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети. И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем селении землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедем, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твой лле, — сказала она. — Твой пор юеле рре.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что… мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. У них очень темная кожа. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр, они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это — одна из тех загадок,

которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна, и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы… холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. А почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот… да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

Рэй Брэдбери
Все лето в один день

— Готовы?

— Да!

— Уже?

— Скоро!

— А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?

— Смотри, смотри, сам видишь!

Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе было полно детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.

— Перестает! Перестает!

— Да, да!

Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым.

Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.

Мне кажется, солнце — это цветок,

Цветет оно только один часок.

Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.

— Ну, ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.

— Нет, сама, — сказала Марго, — Сама.

— Уильям! — остановила мальчика учительница.

Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.

— Где же учительница?

— Сейчас придет.

— Скорей бы, а то мы все пропустим!

Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.

— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям. Марго молчала.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только. Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях того города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.

Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере; когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.

— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.

— Неправда! — закричали ребята.

— Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.

— Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.

Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется на голову! И после того у нее появилось

странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю — это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видимо, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худющая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю…

— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?

Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.

— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он. — Не дождешься, ничего не будет! Марго беззвучно пошевелила губами.

— Ничего не будет! — кричал Уильям. — Это просто для смеха, мы тебя разыграли. Он обернулся к остальным. — Ведь сегодня ничего не будет, верно?

Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: верно, ничего не будет!

— Но ведь… — Марго смотрела беспомощно. — Ведь сегодня тот самый день, — прошептала она. — Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают… Солнце…

— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее.

— Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!

— Не надо, — сказала Марго и попятилась.

Все кинулись к ней, схватили и поволокли, — она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.

— Готовы, дети? — она поглядела на часы.

— Да! — отозвались ребята.

— Все здесь?

— Да!

Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком, аппарат испортился, — шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома… А потом кто-

то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив — мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.

И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.

— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. — Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!

Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.

— Это получше наших искусственных солнц, верно?

— Ясно, лучше!

Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное — опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг… Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху.

— Смотрите, сказала она и вздрогнула. — Ой, смотрите!

Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, по

самой середке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча посмотрели на небо.

— О-о…

Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались.

Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они постояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.

— И так опять будет целых семь лет?

— Да. Семь лет. И вдруг кто-то вскрикнул:

— А Марго?

— Что?

— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.

— Марго…

Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.

— Марго…

Наконец одна девочка сказала:

— Ну что же мы?…

Никто не шелохнулся.

— Пойдем… — прошептала девочка.

Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.

За дверью было тихо. Медленно, медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

Рэй Брэдбери. Берег на закате

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках. Том прислушался.

Вечерело, из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не щелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльцо блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы — словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под Матисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развевает ярко-желтый флаг. А иногда флаг черный или медно-красный. Женщина четко вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом настает такой день, как сегодня…

Том опустил обломок на все растущую груду плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались и давно уже убрались восвояси.

— Чико… Что мы тут делаем?

— Живем как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

И Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах следы снятых картинок, на полу ковром — песок. От ветра комнаты смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегает на бесконечный берег косая волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам приводил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда ускользали

неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли не за ту и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимали вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесосы, выдирали жемчужинку из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда, для забавы, ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья, — Чико ухмыльнулся. — Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико… — Том прикусил нижнюю губу, договорил не сразу:

— Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь, — заторопился Том, — может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери, — медленно произнес Чико и крепко стиснул ручищами сито. — Послушай, парень, ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Вбей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико.

— Я, пожалуй, на той неделе уйду…

— Заткнись! Заткнись и знай работай.

Чико яростно тряхнул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью по полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добычу, монетки поблескивали на проволочной сетке, точно шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а…

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

Отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал по берегу мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там… там…

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— …женщина… у Северной скалы… чудная какая-то!

— Женщина?! — воскликнул Чико и захохотал. — Нет уж,

хватит!

— А чем она чудная? — спросил Том.

— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите! Страсть какая чудная!

— Утопленница, что ли?

— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите… чудно… — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда прибежал. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.

— Я не вру! Честное слово! — мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Ох, пожалуйста, скорей!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Навряд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтоб нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают, — возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду, — сказал Том.

— Спасибо. Ой, спасибо, мистер!

И мальчик побежал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, щурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба казались моложе своих лет, в коротко остриженных волосах седина незаметна. Дул свежий ветер, волны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда? — сказал Том. — Вдруг мы придем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу — луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать про то, сколько удивительных тварей живет в море, и теперь, в мерном дыхании прибоя, ему слышались их имена. Аргонавты, нашептывали волны, треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской слон, нашептывали они, лосось и камбала, белуга, белый кит и касатка, и морская собака… удивительные у них имена, и всегда стараешься представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смеешь ступить с безопасной твердой земли, а все равно они там, и эти имена, и еще тысячи

других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей и фрегатом с могучими крыльями, что улетает за тридевять земель и возвращается через годы, повидав все моря и океаны.

— Ой, скорее! — мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо. — Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнее, — посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчик и неотрывно глядел на песок.

Быть может, краешком глаза Том увидел на песке такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дольше он смотрел, тем растерянней, ошеломленней становилось его лицо и опять стекленели глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже и не заметил.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок. И тотчас у него самого лицо стало такое же, как у этого мальчика. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, сжались кулаки, губы дрогнули и приоткрылись, и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались вобрать.

Солнце стояло совсем низко, еще десять минут — и оно скроется за гладью океана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пряди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длиною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были они зеленые-зеленые. Лицо ее…

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза. Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо — как луна средь бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят, смотрят… Нежные пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегая, скрывает и вновь обнажает волна —

набежит и отхлынет, набежит и отхлынет… Розовеют кончики грудей, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкают, искрятся темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером из пены и алмазов. Меж двумя половинами этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистейшей воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова взбегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родную глубь. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они — одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или морщинка, ни единый стежок или шов; и кажется — а быть может, не только кажется, — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ними.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорит чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужто померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Ну да, — продолжал он. — Просто ее сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой, нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт…

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам и недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся… — ему словно не хватало голоса. Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну, не знаю… а может… может быть…

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели, и вздрагивали под дыханием ветра и волн, и наплывали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет-нет! — так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки, и пальцы едва заметно дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще… пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все тело, пусть унесет ее всю назад, в морскую глубь.

— Том… — начал Чико и запнулся, потом договорил: — Ты бы сходил, поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слыхал, что я говорю?

— Да, но…

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куда-нибудь, уж не знаю… в университет, или в аквариум на Тюленьем берегу, или… черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай… — он потряс Тома за плечо. — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот, подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам. — Вы ж сами говорите, что она настоящая, верно? Так какого беса мы все ждем?

— Чико, — сказал Том, — ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо ж кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико, — сказал Том. — Уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать этот твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгребите побольше песка, чтоб волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну, поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка получше серой амбры. — Он взбежал на ближнюю дюну, крикнул оттуда:

— А ну, давайте работайте! — и исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик. Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том опять наклонился и увидел под твердым маленьким подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может быть давно, жабры; сейчас они плотно закрылись, и их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробирала дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рявкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх по берегу, потом на два дюйма — вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом уходя, на шесть дюймов — вниз, к воде.

— Но ведь… — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом — еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине. Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянное, испуганное и несчастное.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал — да, настоящая, та самая, моя… но… она мертва. А может, и не мертва, но если останется здесь — умрет.

— Нельзя ее упустить, — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы… мы… — запнулся, покачал головой. — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая женщине путь к морю. Нахлынула огромная волна. А потом она схлынула, и остался один только песок, и на нем — ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдаль… а потом позади, на дюнах, взревел грузовик. Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго ехали по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без устали, поминутно сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насквозь, хоть выжми. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не двинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно и то же! Пальцем не шевельнет, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну, а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты-то тоже верен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что еле можно было расслышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит…

Они поехали берегом дальше, остановили машину. Чико минуты три сидел, не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в девятьсот пятьдесят восьмом? А мы с тобой сидим на краю постели, ночь ведь, и отвечаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут — вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все распрощаемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они сидели в темноте на ступенях крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу:

— Том… на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял, никуда он теперь отсюда не уйдет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде, и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн, и плавать среди зеленых кружев и слепящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускнеющей пеленой. Ненадолго море темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят не мигая и ждут.

Рэй Брэдбери
Земляничное окошко

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посередине; одни цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие — прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздья блеклого винограда. И наконец земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах…

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса… Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов… И тогда он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому:- а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе… целый месяц собирался. Завтра… завтра утром у нас

будет…

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей вовсе не было… ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород… Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб… — В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной… Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю… И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости… все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место

чужое. Тут все не как дома — и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок!

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый. Господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробка… да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие… и… — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и…

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. —

Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы — вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб… — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.

— Боб, Боб…

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала, как неживая, и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Она поднялась чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубые пески) и вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На космодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время — и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем,

каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом умирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими праправнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер… скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб…

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом,

хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД! Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-Богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с

утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю. Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было пронумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толедо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри…

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги. Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней:

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески…

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он. Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали — как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца, подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — спросил он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел. Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя…».

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

Рэй Брэдбери
Превращение

«Ну и запах тут», — подумал Рокуэл. От Макгайра несет пивом, от Хартли — усталой, давно не мытой плотью, но хуже всего острый, будто от насекомого, запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатушки.

Этот Смит — уже труп. Рокуэл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп.

— Мне надо вернуться в госпиталь. Война, работы по горло. Сам понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора, пускай вскроют…

Он не договорил — Хартли поднял руку. Костлявой трясущейся рукой показал на тело Смита — на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.

— Возьми стетоскоп, Рокуэл, и послушай еще раз. Еще только раз. Пожалуйста.

Рокуэл хотел было отказаться, но раздумал, снова сел и достал стетоскоп. Собратьям-врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь…

Тесная полутемная комнатушка вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием. Словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела.

Он услышал дрожь жизни.

В глубине этого темного тела один только раз ударило сердце. Будто отдалось далекое эхо в морской пучине.

Смит мертв, не дышит, закостенел. Но внутри этой мумии сердце живет. Живет, встрепенулось, будто еще не рожденный младенец.

Пальцы Рокуэла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, кое-где поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около тридцати пяти. Он слушает опять и опять, на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца.

Один удар за тридцать пять секунд.

А дыхание Смита — как этому поверить? — один вздох за

четыре минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну, а температура?

Шестьдесят.[8]

Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало:

— Он жив. Да, жив. Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже три месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Рокуэл. Он… это что-то противоестественное.

Да это просто невозможно — и как раз поэтому Рокуэла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затянуло кожей. И губы срослись. И ноздри. Воздуху нет доступа…

— И все-таки он дышит…

Рокуэл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки.

Хартли встал над столом — высокий, тощий, измученный.

— Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал. Всего час назад.

Темные глаза Рокуэла вспыхнули, округлились от изумления.

— Как он мог предупредить? Он же недвижим. Исхудалое лицо Хартли — заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза — болезненно передернулось.

— Смит… думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить, вот за что. Смотри. — Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер.

— На, Мэрфи. Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!

Макгайр попятился, на круглом красном лице — испуг.

— Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Рокуэл.

Рокуэл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель:

— Убери револьвер, Хартли. Ты три месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает. — Он провел языком по пересохшим губам. Что за болезнь подхватил Смит?

Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. Засыпает стоя, понял Рокуэл. Не сразу Хартли удалось выговорить:

— Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не

такой… неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?

— Да, конечно, — Рокуэл улыбнулся. — У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит… это же самый невероятный случай за всю историю медицины! С человеческим организмом такого просто не бывает!

Хартли прицелился из револьвера ему в живот.

— Стоп. Стоп. Ты… ты не просто упрячешь Смита подальше, это не годится! Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен! Я знаю, он опасен!

Рокуэл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Рокуэл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен.

— Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно и физически. Убери револьвер.

Они в упор смотрели друг на друга.

Рокуэл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мэрфи — тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит.

— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я там не буду неделю. Может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории.

Толстая красная физиономия Мэрфи сердито скривилась.

— А что мне делать с пистолетом.

Хартли стиснул зубы, процедил:

— Возьми его себе. Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход.

Рокуэлу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках — невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория; Смит, безмолвный, лежал на столе, красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской.

Рокуэл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет, будто металл касается панциря огромного жука.

Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижное тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом.

Рокуэл сосредоточенно вслушивался.

— Наверно, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовало рисковать…

Рокуэл вскрикнул.

Макгайр, волоча ноги, подошел к нему.

— Что случилось?

— Случилось? — Рокуэл в отчаянии огляделся. Сжал кулак — Смит умирает!

— С чего ты взял? Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. Он и сейчас тебя дурачит…

— Нет! — Рокуэл выбивался из сил над бессловесным телом, пытался впрыснуть лекарство. Любое. И ругался на чем свет стоит. После всей этой мороки потерять Смита невозможно. Нет, только не теперь!

А там, внутри, под зеленым панцирем тело Смита содрогалось, билось, корчилось, охваченное непостижимым бешенством, и казалось, в глубине глухо рычит пробудившийся вулкан.

Рокуэл пытался сохранить самообладание. Смит — случай особый. Обычные приемы скорой помощи не действуют. Как же тут быть? Как?

Он смотрит остановившимся взглядом. Окостенелое тело блестит в ярких солнечных лучах. Жаркое солнце. Сверкает, горит на стетоскопе. Солнце. Рокуэл смотрит, а за окном наплывают облака, солнце скрылось. В комнате стало темнее. И тело Смита затихает. Вулкан внутри успокоился.

— Макгайр! Опусти шторы! Скорей, пока не выглянуло солнце!

Макгайр повиновался.

Сердце Смита замедляет ход, удары его опять ленивы и редки.

— Солнечный свет Смиту вреден. Чему-то он мешает. Не знаю, отчего и почему, но это ему опасно… — Рокуэл вздыхает с облегчением. — Господи, только бы не потерять его. Только бы не потерять. Он какой-то не такой, он создает свои правила, что-то он делает такое, чего еще не делал никто. Знаешь что, Мэрфи?

— Ну?

— Смит вовсе не в агонии. И не умирает. И вовсе ему не лучше умереть, что бы там ни говорил Хартли. Вчера вечером, когда я его укладывал на носилки, чтобы везти в санаторий, я вдруг понял: Смиту я по душе.

— Бр-р! Сперва Хартли. Теперь ты. Смит тебе сам это сказал, что ли?

— Нет, не говорил. Но под этой своей скорлупой он не без сознания. Он все сознает. Да, вот в чем суть. Он все сознает.

— Просто-напросто он в столбняке. Он умрет. Больше месяца он живет без пищи. Это Хартли сказал Хартли сперва хоть что-то вводил ему внутривенно, а потом кожа так затвердела, что уже не пропускала иглу.

Дверь одноместной палаты медленно, со скрипом отворилась. Рокуэл вздрогнул. На пороге, выпрямившись во весь немалый рост, стоял Хартли; после нескольких часов сна колючее лицо его стало спокойнее, но серые глаза смотрели все так же зло и враждебно.

— Выйдите отсюда, и я в два счета покончу со Смитом, негромко сказал он. — Ну?

— Ни с места, — сердито приказал Рокуэл, подходя к нему. — Каждый раз, как явишься, вынужден буду тебя обыскивать. Прямо говорю: я тебе не доверяю. — Оружия у Хартли не оказалось. — Почему ты меня не предупредил насчет солнечного света?

— Как? — тихо, не сразу прозвучало в ответ. — А… да. Я забыл. На первых порах я пробовал передвигать Смита. Он оказался на солнце и стал умирать всерьез. Понятно, больше я не трогал его с места. Похоже, он смутно понимал, что ему предстоит. Может, даже сам это задумал, не знаю. Пока он не закостенел окончательно и еще мог говорить и есть, аппетит у него был волчий, и он предупредил, чтоб я три месяца не трогал его с места. Сказал, что хочет оставаться в тени. Что солнце все испортит. Я думал, он меня разыгрывает. Но он не шутил. Ел жадно, как зверь, как голодный дикий зверь, потом впал в оцепенение — и вот, полюбуйтесь… — Хартли невнятно выругался. — Я-то надеялся, ты оставишь его подольше на солнце и нечаянно угробишь.

Макгайр всколыхнулся всей своей тушей — двести пятьдесят фунтов.

— Слушайте… а вдруг мы заразимся этой смитовой болезнью?

Хартли смотрел на неподвижное тело, зрачки его сузились.

— Смит не болен. Неужели не понимаешь, тут же прямые признаки вырождения. Это как рак. Им не заражаешься, это в роду и передается по наследству. Сперва у меня не было к Смиту ни страха, ни ненависти, это пришло только неделю назад, тогда я убедился, что он дышит, и существует, и процветает, хотя ноздри и рот замкнуты наглухо. Так не бывает. Так не должно быть.

— А вдруг и ты, и я, и Рокуэл тоже станем зеленые и эта чума охватит всю страну, тогда как? — дрожащим голосом выговорил Макгайр.

— Тогда, если я ошибаюсь — может быть, и ошибаюсь, — я умру, — сказал Рокуэл. — Только меня это ни капельки не волнует.

Он повернулся к Смиту и продолжал делать свое дело.

Колокол звонит. Колокол. Два, два колокола. Десять колоколов, сто. Десять тысяч, миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в тишину, воют, ревут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши!

Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопушки, в воздухе несмолкаемый грохот и треск!

Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть — веки замкнуты, знает, ничего ему не сказать — губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают.

Видеть он не может. Но нет, все-таки может, и кажется перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть и вдруг понимает: язык пропал — там, где всегда был язык, пустота, щемящая пустота будто жаждет вновь его обрести, но сейчас — не может.

Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола. И они останавливаются, блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит.

Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не повинуется. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова — ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу.

И еще через минуту страшное открытие: он больше не дышит. По крайней мере, легкими.

— Потому что у меня больше нет легких! — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смиту стало спокойнее.

«Я не боюсь, — подумал он. — Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь, а почему — не знаю.

Ни языка, ни ноздрей, ни легких.

Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то… что-то происходит».

В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабер, вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как — бьется еще или нет?

Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный

багровый ропот возникает вокруг, поток, река… медленная, еще медленней, еще. Так славно.

Так отдохновенно.

Дни сливаются в недели, и быстрей складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Рокуэла секретарем. Не бог весть какая подмога, но славный товарищ.

Рокуэл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но неспокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, призадумался — и сказал неторопливо:

— Вот что, я только сейчас сообразил: Смит живой! Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука!

Рокуэл расхохотался.

— А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри Смитовой скорлупы.

Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу. Игла сломалась. Рокуэл сменил иглу, потом еще одну и наконец проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро:

— Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и за восемь секунд они все погибли! Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию он любую бациллу уничтожит, он ими лакомится!

За считанные часы сделаны были и еще открытия Рокуэл лишился сна, ночью ворочался в постели с боку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру. С тех пор, как Смит заболел, и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. НИ ГРАММА ЭТОЙ ПИЩИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО. Вся она сохраняется про запас — и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде: это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унции довольно, чтобы питать человека целых три дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее!

Рокуэл ликовал — вот это открытие! В теле Смита накопилось этого икс-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне.

Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко.

— Вот бы и мне так…

Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе. А нужное ему количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу. И усваивает до последней молекулы. Никаких отходов.

— И ко всему, — докончил Рокуэл, — в последнем счете Смиту, пожалуй, вовсе не надо будет, чтоб у него билось сердце, он и так обойдется!

— Тогда он умрет.

— Для нас с тобой — да. Для самого себя — может быть. А может, и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собою очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу; система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении!

Хартли принял открытие с досадой. И твердил свое:

— Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен.

Макгайр еще подлил масла в огонь:

— Почем знать, может, возбудителя этой болезни и в микроскоп не увидишь, а он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис; отчего бы новой неведомой бацилле не пожрать все остальные?

— Довод веский, — сказал Рокуэл. — Но мы-то не заболели?

— Может быть, эта бактерия уже в нас, только ей нужен какой-то инкубационный период.

— Типичное рассуждение старомодного эскулапа. Что бы с человеком ни случилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит, болен, — возразил Рокуэл. — Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров, до того здоров, что ты его боишься.

— Ты спятил, — сказал Макгайр.

— Возможно. Только Смиту, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение. А по-моему, рост.

— Да ты посмотри на его кожу! — почти простонал Макгайр.

— Овца в волчьей шкуре. Снаружи — жесткий, ломкий покров. Внутри — упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что

скажи, Хартли, только честно: боялся ты в детстве насекомых — пауков и всякой такой твари?

— Да.

— То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна эта перемена в нем.

В последующие недели Рокуэл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей «болезни». Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией.

Уезжая из санатория, Рокуэл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражем Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли.

Смиту двадцать три года, и жизнь у него была самая простая. Пять лет проработал в лаборатории электроники. Никогда серьезно не болел.

Шли дни. Рокуэл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалась у него все отчетливей.

А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом.

Он позвал с веранды Макгайра. Тот пришел. За ним, бормоча вперемешку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной.

И Рокуэл заговорил:

— Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилле. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминаю об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасываю. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность — замедленную наследственную мутацию.

— Мутацию? — не своим голосом переспросил Макгайр.

Рокуэл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету.

— Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию, исследовал несколько вот этих штучек, — он повертел в пальцах темный маленький предмет. — И я уверен.

Это метаморфоза. Перерождение, видоизменение, мутация — не до, а после появления на свет. Вот. Держи. Это и есть Смит.

И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету.

— Это же куколка, — сказал Хартли. — Бывшая гусеница.

Рокуэл кивнул:

— Вот именно.

— Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже… куколка?!

— Убежден, — сказал Рокуэл.

Вечером, в темноте, Рокуэл склонился над телом Смита. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Рокуэл осторожно ощупывал тело.

— Предположим, жить — значит не только родиться, протянуть семьдесят лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень, — и Смит первый из всех нас совершает этот шаг.

Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное: нечто будто бы неизменное превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое — в куколку, а из нее выходит бабочкой. С виду куколка мертва. Это маскировка, способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница бабочкой… а чем станет Смит?

— Смит-куколка? — Макгайр невесело засмеялся.

— Да.

— С людьми так не бывает.

— Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел, зачем копил в организме некий икс-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной — излучение. Жесткое излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно он облучался или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры, часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет.

— Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди?..

— Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка

жука — в почве, а гусеница — на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают на простор. Смит — это ответ на извечный вопрос: что будет дальше с людьми, к чему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встает Вселенная, в этой Вселенной мы обречены существовать, и человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту Вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл.

Ведь все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суетимся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна, слишком мало он знает.

Но измените человека! Сделайте его совершенным. Сделайте… сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества, дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой; дайте ясный, проницательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате, и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти, и вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты, — и тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, Вселенной!

Рокуэл задохнулся, охрип, сердце его неистово колотилось; он склонился над Смитом, бережно, благоговейно приложил ладони к холодному недвижному панцирю и закрыл глаза. Сила, властная тяга, твердая вера в Смита переполняли его. Он прав. Прав. Он это знает. Он открыл глаза, посмотрел на Хартли и Макгайра — всего лишь тени в полутьме палаты, при завешенном окне.

Короткое молчание, потом Хартли погасил свою сигарету.

— Не верю я в эту теорию.

А Макгайр сказал:

— Почем ты знаешь, может быть, все нутро Смита обратилось в кашу? Делал ты рентгеновский снимок?

— Нет, это рискованно — вдруг помешает его превращению, как мешал солнечный свет.

— Так, значит, он становится сверхчеловеком? И как же это будет выглядеть?

— Поживем — увидим.

— По-твоему, он слышит, что мы про него сейчас говорим?

— Слышит ли, нет ли, ясно одно: мы узнали секрет, который нам знать не следовало. Смит вовсе не желал посвящать в это меня и Макгайра. Ему пришлось как-то к нам приспособиться. Но сверхчеловек не может хотеть, чтобы все вокруг о нем узнали. Люди слишком ревнивы и завистливы, полны ненависти. Смит знает, если тайна выйдет наружу, это для него опасно. Может быть, отсюда и твоя ненависть к нему, Хартли.

Все замолчали, прислушиваются. Тишина. Только шумит кровь в висках Рокуэла. И вот он, Смит — уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем неизвестно.

— Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить, — заговорил Хартли. — Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю… тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас возненавидит за то, что мы проведали его секрет.

— Я не боюсь, — беспечно сказал Рокуэл.

Хартли промолчал. Шумное хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэл обошел вокруг стола, махнул рукой:

— Пойдемте-ка все спать, пора, как, по-вашему?

Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Рокуэл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу, перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег.

Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный…

Он улегся в постель.

Когда же? Когда Смит «вылупится» из своей скорлупы? Когда?

Дождь тихонько шуршал по крыше санатория.

Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома, слышалось его шумное, тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь, сквозняк прекратился.

Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные. Шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза.

В полутьме кто-то над ним наклонился.

Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка, желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра.

В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого.

Шевельнулась чья-то рука. Кто- то силится заговорить.

У Макгайра вырвался дикий вопль.

Рука, что протянулась в полосу света, зеленая.

Зеленая!

— Смит!

Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору:

— Он ходит! Не может ходить, а ходит!

Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распахивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него, он выбегает в бурю, бессвязно, бессмысленно бормочет.

А тот, в прихожей, недвижим. Наверху распахнулась дверь, по лестнице сбегает Рокуэл. Зеленая рука отдернулась из полосы света, спряталась за спиной.

— Кто здесь? — остановись на полпути, спрашивает Рокуэл.

Тот выходит на свет.

Рокуэл смотрит в упор, брови сдвинулись.

— Хартли! Что ты тут делаешь, почему вернулся?

— Кое-что случилось, — говорит Хартли. — А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный.

Рокуэл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побежал дальше — по коридору, за дверь, под дождь.

— Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!

Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть не в сотне шагов от дома, тот бормочет:

— Смит… Смит там ходит…

— Чепуха. Просто это вернулся Хартли.

— Рука зеленая, я видел. Она двигалась.

— Тебе приснилось.

— Нет. Нет. — В дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. — Я видел, рука зеленая, верно тебе говорю. А зачем Хартли вернулся? Ведь он…

При звуке этого имени Рокуэла как ударило, он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем опасность! — резнул отчаянный зов: на помощь!

— Хартли!

Рокуэл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию. В дом, по коридору…

Дверь в палату Смита взломана.

Посреди комнаты с револьвером в руке — Хартли. Услыхал бегущего Рокуэла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэл щелкает выключателем.

Тьма. И вспышка пламени, точно на моментальной

фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэл метнулся в сторону вспышки. И уже в прыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли.

Пальцы, покрытые зеленой чешуей.

Потом схватка врукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхивает свет, на пороге мокрый насквозь Макгайр выговаривает трясущимися губами:

— Смит… он убит?

Смит не пострадал. Пуля прошла выше.

— Болван, какой болван! — кричит Рокуэл, стоя над обмякшим на полу Хартли. — Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить.

Хартли пришел в себя, говорит медленно:

— Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил.

— Ерунда, он… — Рокуэл запнулся, изумленный. Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. Он с яростью смотрит на Хартли: — Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты. Не спускай с него глаз.

Макгайр говорит хрипло:

— Погляди на его руку. Ты только погляди. У Хартли рука зеленая. Там в прихожей был не Смит — Хартли!

Хартли уставился на свои пальцы.

— Мило выглядит, а? — говорит он с горечью. — Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким… такой же тварью… Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал — больше не могу, вот и пришел его убить, отплатить, он же меня погубил…

Сухой резкий звук, что-то сухо треснуло. Все трое замерли.

Три крохотные чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол.

Рокуэл вмиг очутился у стола, вгляделся.

— Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная — треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу!

Дряблые щеки Макгайра затряслись:

— И что тогда?

— Будет у нас сверхчеловек, — резко, зло отозвался Хартли. — Спрашивается: на что похож сверхчеловек? Ответ: никому не известно.

С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернуло.

— Ты попробуешь с ним заговорить?

— Разумеется.

— С каких это пор… бабочки… разговаривают?

— Поди к черту, Макгайр!

Рокуэл засадил их обоих для верности наверху под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь — следить, вслушиваться, думать.

Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу Неведомое.

Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегают по стеклу. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух; возможно, появятся дополнительные глаза; изменятся форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожные ткани; возможно несчетное множество перемен.

Рокуэла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы — вроде медузы? Вдруг он — безумный, помешанный… или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет. Нет. Рокуэл помотал затуманенной головой. Смит — совершенство. Совершенство. В нем нет места ни для единой злой мысли. Совершенство.

В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол…

Рокуэл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла, нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, с маху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр — бегает под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось…

Жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Рокуэл протирает глаза, смутно встревоженный тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял… Рокуэл вскочил, как ужаленный. Солнце! Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались! Он закричал.

Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Рокуэл косится на стол. Туда, где должен бы лежать Смит.

Но его там нет.

На столе только и есть, что солнечный свет. Да еще какие-то опустелые остатки. Все, что осталось от куколки. Все, что осталось.

Хрупкие скорлупки — расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо,

обломок грудной клетки — разбитые останки Смита!

А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Рокуэл подошел к столу. Точно маленький, стал копаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице, закричал:

— Хартли! Что ты с ним сделал? Хартли! Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?

Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Рокуэл повернул ключ в замке. И увидел их обоих в комнате.

— Вы тут, — сказал растерянно. — Значит, вы туда не спускались. Или, может, отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и… нет, нет.

— А что случилось?

— Смит исчез! Макгайр, скажи, выходил Хартли отсюда?

— За всю ночь ни разу не выходил.

— Тогда… есть только одно объяснение… Смит выбрался ночью из своей скорлупы и сбежал! Я его не увижу, мне так и не удастся на него посмотреть, черт подери совсем! Какой же я болван, что заснул!

— Ну, теперь все ясно! — заявил Хартли. — Смит опасен, иначе он бы остался и дал нам на себя посмотреть. Одному богу известно, во что он превратился.

— Значит, надо искать. Он не мог уйти далеко. Надо все обыскать! Быстрее, Хартли! Макгайр!

Макгайр тяжело опустился на стул.

— Я не двинусь с места. Он и сам отыщется. С меня хватит.

Рокуэл не стал слушать дальше. Он уже спускался по лестнице, Хартли за ним по пятам. Через несколько минут за ними, пыхтя и отдуваясь, двинулся Макгайр.

Рокуэл бежал по коридору, приостанавливаясь у широких окон, выходящих на пустыню и на горы, озаренные утренним солнцем. Выглядывал в каждое окно и спрашивал себя: да есть ли хоть капля надежды найти Смита? Первый сверхчеловек. Быть может, первый из очень и очень многих. Рокуэла прошиб пот. Смит не должен был исчезнуть, не показавшись сперва хотя бы ему, Рокуэлу. Не мог он вот так исчезнуть. Или все же мог?

Медленно отворилась дверь кухни.

Порог переступила нога, за ней другая. У стены поднялась рука. Губы выпустили струйку сигаретного дыма.

— Я кому-то понадобился?

Ошеломленный Рокуэл обернулся. Увидел, как изменился в

лице Хартли, услышал, как задохнулся от изумления Макгайр. И у всех троих вырвалось разом, будто под суфлера:

— Смит!

Смит выдохнул струйку дыма. Лицо ярко-розовое, словно его нажгло солнцем, голубые глаза блестят. Ноги босы, на голое тело накинут старый халат Рокуэла.

— Может, вы мне скажете, куда это я попал? И что со мной было в последние три месяца — или уже четыре? Тут что, больница?

Разочарование обрушилось на Рокуэла тяжким ударом. Он трудно глотнул.

— Привет. Я… то есть… Вы что же… вы ничего не помните?

Смит выставил растопыренные пальцы:

— Помню, что позеленел, если вы это имеете в виду. А потом — ничего.

И он взъерошил розовой рукой каштановые волосы — быстрое, сильное движение того, кто вернулся к жизни и радуется, что вновь живет и дышит.

Рокуэл откачнулся, бессильно прислонился к стене. Потрясенный, спрятал лицо в ладонях, тряхнул головой. Потом, не веря своим глазам, спросил:

— Когда вы вышли из куколки?

— Когда я вышел… откуда?

Рокуэл повел его по коридору в соседнюю комнату, показал на стол.

— Не пойму, о чем вы, — просто, искренне сказал Смит. Я очнулся в этой комнате полчаса назад, стою и смотрю — я совсем голый.

— И это все? — обрадованно спросил Макгайр. У него явно полегчало на душе.

Рокуэл объяснил, откуда взялись остатки скорлупы на столе. Смит нахмурился.

— Что за нелепость. А вы, собственно, кто такие?

Рокуэл представил их друг другу.

Смит мрачно поглядел на Хартли.

— Сперва, когда я заболел, явились вы, верно? На завод электронного оборудования. Но это же все глупо. Что за болезнь у меня была?

Каждая мышца в лице Хартли напряглась до отказа.

— Никакая не болезнь. Вы-то разве ничего не знаете?

— Я очутился с незнакомыми людьми в незнакомом санатории. Очнулся голый в комнате, где какой-то человек спал на раскладушке. Очень хотел есть. Пошел бродить по санаторию. Дошел до кухни, отыскал еду, поел, услышал какие-то

взволнованные голоса, а теперь мне заявляют, будто я вылупился из куколки. Как прикажете все это понимать? Кстати, спасибо за халат, за еду и сигареты, я их взял взаймы. Сперва я просто не хотел вас будить, мистер Рокуэл. Я ведь не знал, кто вы такой, но видно было, что вы смертельно устали.

— Ну, это пустяки. — Рокуэл отказывался верить горькой очевидности. Все рушится. С каждым словом Смита недавние надежды рассыпаются, точно разбитая скорлупа куколки. — А как вы себя чувствуете?

— Отлично. Полон сил. Просто замечательно, если учесть, как долго я пробыл без сознания.

— Да, прямо замечательно, — сказал Хартли.

— Представляете, каково мне стало, когда я увидел календарь. Стольких месяцев — бац — как не бывало! Я все гадал, что же со мной делалось столько времени.

— Мы тоже гадали.

Макгайр засмеялся:

— Да не приставай к нему, Хартли. Просто потому, что ты его ненавидел…

Смит недоуменно поднял брови:

— Ненавидели? Меня? За что?

— Вот. Вот за что! — Хартли растопырил пальцы. — Ваше проклятое облучение. Ночь за ночью я сидел около вас в вашей лаборатории. Что мне теперь с этим делать?

— Тише, Хартли, — вмешался Рокуэл. — Сядь. Успокойся.

— Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман, какого еще свет не видал! Если у вас осталось хоть на грош соображения, убейте этого Смита, пока он не улизнул!

Рокуэл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой:

— Нет, пускай говорит дальше. Что все это значит?

— Ты и сам знаешь! — в ярости заорал Хартли. — Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Рокуэла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит. Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтоб никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас и уверяешь, будто ты просто человек.

— Он и есть просто человек, — жалобно вставил Макгайр.

— Вранье. Он думает не по-людски. Чересчур умен.

— Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации, предложил Макгайр.

— Он и для этого чересчур умен.

— Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, впрыснем сыворотки.

На лице Смита отразилось сомнение:

— Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо.

Хартли возмутился. Посмотрел на Рокуэла, сказал:

— Давай шприцы.

Рокуэл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек, — думал он. — Его кровь — сверхкровь. Смертельна для микробов. А сердцебиение? А дыхание? Может быть, Смит — сверхчеловек, но сам этого не знает. Да. Да, может быть…»

Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп. И сник, ссутулился. Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы — и они погибают в обычный срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий. И неведомый икс-раствор исчез. Рокуэл. горестно вздохнул. Температура у Смита нормальная. Пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность — ни в чем никаких отклонений.

— Что ж, все в порядке, — негромко сказал Рокуэл.

Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски.

— Простите, — выдохнул он. — Что-то у меня… ум за разум… верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы. Ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и свалял дурака. Простите. Простите. — И уставился на свои зеленые пальцы. — А что ж будет со мной?

— У меня все прошло, — сказал Смит. — Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую. Но это было не так уж скверно… В сущности, я ничего не помню.

Хартли явно отпустило.

— Но… да, наверно, вы правы. Мало радости, что придется вот так закостенеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет.

Рокуэлу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя, так ждать и жаждать нового, неведомого, сгорать от любопытства — и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки? Тот же, что был прежде. И все надежды, все домыслы напрасны.

Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мысли. Смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает… просто-напросто человек, который страдал какой-то накожной болезнью — временно отвердела кожа да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция, — но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Рокуэла, неистовая фантазия разыгрались и все проявления странной болезни сложили в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Рокуэл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован.

Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявления странной болезни. Была болезнь, и только. Была — и прошла, миновала, кончилась и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру.

Но Рокуэла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать, пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума.

Смит обошел их всех, каждому пожал руку.

— Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступить к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше. Сами понимаете.

— Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней, — сказал Рокуэл, горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты.

— Нет, спасибо. Впрочем, этак через неделю я к вам загляну, доктор, обследуете меня еще раз, хотите? Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтоб вы могли меня проверить, ладно?

— Да. Да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы

— Я вас подвезу до Лос-Анджелеса, — весело предложил Макгайр.

— Не беспокойтесь. Я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочется пройтись. Давненько я не гулял, погляжу, что это за ощущение.

Рокуэл ссудил ему пару старых башмаков и поношенный костюм.

— Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорей вернуть вам все, что задолжал.

— Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно

— Что ж, до свиданья, доктор. Мистер Макгайр.

— До свиданья, Смит.

— До свиданья.

Смит пошел по дорожке к старому руслу, дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело, посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Рокуэл.

Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу.

Рокуэл провожал его глазами — так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение — замок из песка — подмывают и уносят волны моря.

— Не верится, — твердил он снова и снова. — Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри пусто.

— А по-моему, все прекрасно! — Макгайр радостно ухмылялся.

Хартли стоял на солнце. Мягко опущены его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы, вдруг понял Рокуэл, совсем спокойно бледное лицо.

— У меня все пройдет, — тихо сказал Хартли. — Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава богу. Слава богу. Я не сделаюсь чудовищем. Я останусь самим собой. — Он обернулся к Рокуэлу: — Только запомни, запомни, не дай, чтоб меня по ошибке похоронили, ведь меня примут за мертвеца. Смотри, не забудь.

Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагретом недвижном воздухе пахло водой, пылью, цветущими вдали апельсиновыми деревьями.

Встрепенулся ветерок. Смит глубоко дышал. И шел все дальше.

А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо.

Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал? Потом выпрямился во весь рост — стройный, ладный, — отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела.

Без малейшего усилия — только чуть вздохнул теплый воздух вокруг — Смит поднялся над землей.

Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали…

Рэй Брэдбери
И все-таки наш…

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять» — и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет, нет, она жива и здорова. Но вот ребенок…

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но… допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели… это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков, и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: „С первым апреля!“ — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся, сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко докончил доктор, — ваш ребенок родился в… в другое измерение.

Хорн даже не кивнул Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он непохож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную

форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову, хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами.

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним! — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли, то есть… ну, конечно, мы не можем сказать наверняка.

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду, как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн! Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор, доктор, а умственно он в порядке!

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно Полли.

Доктор нахмурился.

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжко женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это… сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считай я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смышленый, на диво смышленый Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что то привлекало. И пахло

от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит.

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему вы все так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть, прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто.

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть.

Пожалуйста. Прямо сейчас

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я… я даже могу взять его на руки Он теплый, и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные, — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он… не знаю, как тебе объяснить… он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права. — Питер взял ее за руку, — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня. Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. Непременно уладится…

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все

младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились — там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать… — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в

теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль, все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн. Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался, — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую, Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере, так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да, да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи:

папа.

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн.

Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему: папа, папа, папа. Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она, — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды, — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм… Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. — Доктор потрепал Пая по «подбородку». Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял

глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, — и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем Хорн потихоньку снова начал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся.

— Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком пострaнствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору, — Нет, нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Пакистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой, — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик? Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка… — повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел,

увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом.

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали…

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гуденье. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так- то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз. Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое

дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправским философом. Но тут есть еще одно…

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся выродками.

— Да. Но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хори посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели… — Он вздохнул, — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть…

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу, вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, — так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем…» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы… Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск. Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это Будет?

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться и шутить, и угощать всех крохотными сандвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки…

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятьях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

Рэй Брэдбери
Машина до Килиманджаро

Я приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь, в мотеле все равно не уснуть, вот я и решил — лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца, и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное — не смотреть на могилу. По крайней мере так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком, и пошел бродить по городку, и поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то, что надо, я поговорил с ним всего несколько минут и понял — не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охотника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почуял, чего мне надо.

Я угостил его пивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту, — и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога и горы, охотник собрался с духом и негромко заговорил.

— Тот старик, — сказал он. — Да, старик на дороге. Да-да, бедняга.

Я ждал.

— Никак не могу забыть того старика на дороге, — сказал он и, понурясь, уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки — стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тоща я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

— Это здесь вы его видели чаще всего? — спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

— Я часто видал, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезал наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтоб не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить — это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был…

— Да, верно, — сказал я, сложил карту и сунул в карман.

— А вы что, тоже из этих, из газетчиков? — спросил охотник.

— Из этих, да не совсем.

— Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу, — сказал он.

— Не стоит извиняться, — сказал я. — Скажем так: я один из его читателей.

— Ну, читателей-то у него хватало, самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал, и, может, уж больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится, они-то весь век около этой животины. Бык — он бык и есть, уж верно, что здесь, что там, все едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

— По-моему, — сказал я, — в молодости каждый из нас, прочитавши эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж по крайней мере пробежать рысцой впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка, и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я запнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речам старика, то ли его строчкам. Покачал я головой и замолк.

— А у могилы вы уже побывали? — спросил охотник так, будто знал, что я отвечу — да, был.

— Нет, — сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

— К могиле все ходят, — сказал он.

— К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

— То есть… — сказал он. — А почему нет?

— Потому что это неправильная могила, — сказал я.

— Если вдуматься, так все могилы неправильные, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Есть могилы правильные и неправильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или по крайней мере нюхом чуял, что тут есть правда.

— Ну, ясно, — сказал он. — Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь — вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дожидался ужина, а жена была в кухне, приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый — и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцати лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился, так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух — и все тут. Вы про это говорите, верно?

Я кивнул.

— Стало быть, по-вашему, та могила на горе — неправильная могила для правильного человека, так, что ли?

— Примерно так, — сказал я.

— По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

— Очень может быть, — сказал я.

— И коли мы бы могли увидать всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе, которая получше? — сказал охотник. — В конце оглянешься и скажешь: черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место — не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать. Так, что ли?

— Раз уж только это и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так, — сказал я.

— Неплохо придумано, — сказал охотник. — Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает соображения убраться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

— Норовим засидеться, — подтвердил я. — Стыд и срам. Мы

спросили еще пива.

— Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

— Ну, а что можно поделать, коли могила неправильная? спросил он.

— Не замечать, будто ее и нет, — сказал я. — Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул.

— Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать, которые рехнулись. Давай, болтай еще.

— Больше ничего, — сказал я.

— Может, ты есть воскресение и жизнь?

— Нет.

— Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

— Нет.

— Тогда чего ж?

— Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

— Вот выпей-ка, — сказал охотник. — Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

— От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдесятером и выбрали одного. Купили вскладчину грузовик вот он стоит, — и я покатил через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтобы настроиться как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

— Для чего выбрали, черт подери, для чего? — напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой. Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

— Все, да не совсем, — сказал я. — Пошли.

И шагнул к двери. Охотник остался сидеть. Потом вгляделся мне в лицо — оно все горело от этих моих речей, ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину, и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

— Я такие видал, — сказал охотник. — В кино показывали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

— Правильно.

— У нас тут львы не водятся, — сказал он. — И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

— Нету? — переспросил я.

Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

— Знаешь, что это за штука?

— Ничего я больше не знаю, — сказал охотник. — Считай меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

— Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне — валяй, мол, дальше.

— Машина Времени, — повторил я.

— Слышу, не глухой, — сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину — да, с таких и правда охотятся в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и уставился на крышку бензобака.

— Сколько миль из нее можно выжать? — спросил он.

— Пока не знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказал он.

— Первый раз еду, — сказал я. — Съезжу до места, тогда узнаю.

— И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

— Какое ей нужно горючее? — опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, и в полдень в Памплоне, читать, сидя у ручья, или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней, и купили ее, и касались ее, и вложили в нее нашу любовь и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви — это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыбина, — вот он, потребный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почуял, о чем я думаю — глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли, — и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и… вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку… и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар и сел пить в одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать, попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

«Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее?» — подумал я. И покатил.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед и порой на секунду-другую зажмуривался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом, около полудня, солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал — все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбину, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и, когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе; довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше.

Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

— Папа.

Он остановился, выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

— Папа, — повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

— Разве я вас знаю?

— Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы.

— Да, похоже, что знаете.

— Я вас увидал на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

— Нет, спасибо, — сказал он. — В этот час хорошо пройтись пешком.

— Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

— Куда же?

— Путь долгий.

— Похоже, что долгий, по тому, как вы это сказали. А покороче вам нельзя?

— Нет, — отвечал я. — Путь долгий. Примерно две тысячи

шестьсот дней, да прибавить или убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

— Значит, вон в какую даль вы собрались?

— Да, в такую даль.

— В какую же сторону? Вперед?

— А вы не хотите вперед? Он поглядел на небо.

— Не знаю. Не уверен.

— Я не вперед еду, — сказал я. — Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в облачный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

— Назад…

— Где-то посредине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуемся из-за секунды, — сказал я.

— Язык у вас ловко подвешен, — сказал он.

— Так уж приходится, — сказал я.

— Писатель из вас никудышный, — сказал он. — Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

— Это уж моя забота, — сказал я.

— Назад? — Он пробовал это слово на вес.

— Разворачиваю машину, — сказал я. — И возвращаюсь вспять.

— Не по милям, а по дням?

— Не по милям, а по дням.

— А машина подходящая?

— Для того и построена.

— Стало быть, вы изобретатель?

— Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

— Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

— К вашим услугам, — сказал я.

— А когда вы доедете до места, — начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: — Куда вы попадете?

— В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

— Памятный день, — сказал он.

— Был и есть. А может стать еще памятней.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

— И где же вы будете в этот день?

— В Африке, — сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

— Неподалеку от Найроби, — сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

— В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

— И если поедем — попадем туда, а дальше что? — спросил он.

— Я вас там оставлю.

— А потом?

— Вы там останетесь.

— А потом?

— Это все.

— Все?

— Навсегда, — сказал я.

Старик глубоко вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

— И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? спросил он.

— Не знаю, — сказал я.

— Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

— Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

— Но хотите попробовать?

Я кивнул.

— А почему? — спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор, грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом. — Почему?

Старик, подумал я, не могу я тебе ответить. Не спрашивай. Он отодвинулся — почувствовал, что перехватил.

— Я этого не говорил, — сказал он.

— Вы этого не говорили, — повторил я.

— И когда вы пойдете на вынужденную посадку, — сказал он, — вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

— Да, по-другому.

— Немного пожестче?

— Погляжу, что тут можно сделать.

— И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

— По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон, никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И наверно, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

— Хороший день вы вспомнили.

— Самый лучший.

— И хороший час, и хороший миг.

— Право, лучше не сыскать.

— Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины — не опираясь, нет испытующе: пробовала, ощупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

— Да.

— Да? — переспросил я.

— Идет, — сказал он. — Ловлю вас на слове, подвезите меня.

Я выждал мгновение — только раз успело ударить сердце, дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу. Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

— Поехали, — сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

— Развернитесь, — сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

— Это правда такая машина, как надо? — спросил он.

— Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении.

Я ждал, мотор работал вхолостую.

— Я кое о чем вас попрошу, — начал он, — когда приедем на место, не забудете?

— Постараюсь.

— Там есть гора, — сказал он, и умолк, и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я докончил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь. И напишем даты рожденья и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

— Поехали.

— Да, Папа, — сказал я.

И мы двинулись, не торопясь, я за рулем, старик рядом со мной, спустились с косогора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце, и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и

ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колено в воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может, помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжить путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

— Отличный будет день! — крикнул он.

— Отличный.

Позади дорога, думал я, как там на ней сейчас, ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет? И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?

Я еще поддал газу, машина рванулась: девяносто миль в час.

Мы оба заорали, как мальчишки.

Уж не знаю, что было дальше.

— Ей-богу, — сказал под конец старик, — знаете, мне кажется… мы летим?

Рэй Брэдбери
О скитаньях вечных и о Земле

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257- й, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он. Межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета…

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным, лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвиле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, после него остался чемодан, набитый рукописями, и

все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу

«Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги: «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф, — сказал он. — Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали, — заметил профессор Боултон.

— Ну, нет! — отрезал старик. — Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце достроите свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия…

— А мы добьемся столетий! И вы все, — он обвел присутствующих неистовым, сверкающим взором, — будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да, — подтвердил старик. — Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя.

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываем? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы прибудете, когда он уже умрет? Смотрите не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе У нас ты можешь шутя играть ракетами, Том, вот тебе звезды пригоршни цветных стеклышек. Бери все, что душе угодно, у нас все есть. Тебе придутся по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил. Пространства — для этого нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь Бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь послушаешься и придешь к нам,

придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Правда, Том?»

Веки Филда смежились, смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке… шаги…

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежка на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесия в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше. Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Томас Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву. И подумал: ну и жар у меня. Чувствую, меня куда-то несет. И подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец Господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу-медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до пят, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно

решу, что спятил. Вы ведь не господь Бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся.

— Нет-нет, Том, я не Бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся. — Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз, — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не Четвертое июля. Не как в твое время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще… видишь, сколько их? Желтые, голубые… Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, завороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлиненными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд. С обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем, как мячом, — Солнцем и звездами. И всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим, — в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар, и в холод. И снова в жар.

— Все сводится вот к чему, — сказал наконец Томас Вулф. — Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться…

— Но…

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том…

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить… Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня.

С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение… и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий… И задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите, — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздох, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив — так? Здесь, сейчас ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот… — В темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда. Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержать каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг… ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда. Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечереющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему… — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свидания, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается.

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принюхивается, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные. И от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то Бог, дай Бог! Боултон, а вы правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны…

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Браво, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос — как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в Космосе человек. Говорил о вечной, непроходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и о человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели, там, в ракете, летящей на Марс… наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных каменьях балаган, и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла груда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели — неправдоподобной, к концу месяца — совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал Филд и читал вслух.

— А это?! А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том у каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд…

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съежился в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»…

— Что поделаешь…

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, аппарат вновь оживает и он встрепенется, и снова космические просторы, и странствия, и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«…бескрайние звездные луга космоса…»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно околдованный, похолодев от ужаса, старик Филд следил, как складываются черные строчки:

«…марсианские города — изумительные, неправдоподобные, точно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями…»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесполезно, — сказал голос в трубке. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но…

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти проклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля. Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

— «В», — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

— «…дыхании», — отстучала она.

— Ну, ну?!

— «Марса», — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль, и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов…»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо, — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее…

Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки — ведет хозяйство, растит детей… невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы». Тут он пишет о марсианах: они индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю. Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи; груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой, нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке

Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю, — с тяжелым вздохом Вулф опустился в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад, в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, — сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое…

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони, да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, стану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф уставился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну, а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя.

— Ну… а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть… сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил.

— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: — «…о скитаньях вечных и о Земле… Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки…»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел:

ТОМАС ВУЛФ

О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным

сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли.

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропадал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел. — Ого, если б я и сказал вам, где… все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия…

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть… Хороший сон…

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлиненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь.

Рэй Брэдбери
Лучезарный Феникс

Однажды в апреле две тысячи двадцать второго тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула. Грянул гром.

«Ну вот», — подумал я.

У подножия лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного легиона (мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как двадцать лет назад) возник Джонатан Барнс.

Хоть он и храбрился, но мгновение помешкал, и я вспомнил десять тысяч речей, которые он извергал, как фонтан, на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком обеды, которые он поистине сам стряпал — все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан.

И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но, должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия, ибо, подойдя к моему столу и жарко дохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом:

— Я пришел за книгами, Том.

Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку.

— Когда они будут готовы, мы вас известим.

— Погоди, — сказал он. — Постой…

— Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в Фонд ветеранов для раздачи в госпитале?

— Нет, нет! — крикнул он. — Я заберу все книги.

Я посмотрел на него в упор.

— Ну, почти все, — поправился он.

— Почти все? — Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. — В одни руки за один раз выдается не больше десяти. Сейчас посмотрим. А, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонемента истек тридцать лет назад, ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло двадцать. Видишь? — Я поднял карточку и показал ему.

Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.

— Я вижу, ты оказываешь сопротивление! — Лицо его

наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым. — Мне для моей работы никакие карточки не нужны!

Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись.

Читатели подняли головы, обратили к нам отрешенные лица. Таково было время и самый здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит, а здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все сорок лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней и хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а быть может вечно-молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя и лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются светлые нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся ясней и отчетливей, тело раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной сутолоке, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытясь. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я знавал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам, и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина.

— Да, — сказал я наконец. — Но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку. Найди двух надежных поручителей…

— Чтоб жечь книги, мне поручители ни к чему! — сказал Барнс.

— Напротив, — сказал я, — для этого тебе еще много чего нужно.

— Мои люди — вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны.

— Такие люди всегда опасны.

— Да нет же, болван, я про книги. Книги — вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разнобой, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопли-вопли. Нет, мы это все обстрогаем. Чтоб все просто и ясно и никаких загогулин. Нам

надо…

— Надо это обсудить, — сказал я и прихватил под мышку томик Демосфена. Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию…

Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул.

Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громыхающим потоком хлынули люди в угольно-черной форме.

Я негромко их окликнул.

Они удивленно остановились.

— Тише, — сказал я.

Барнс схватил меня за плечо.

— Ты что, сопротивляешься закону?

— Нет, — сказал я. — Я даже не стану спрашивать у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину.

Услыхав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой, Все опять уселись и уже не поднимали глаз, зато люди, втиснутые в черную, перепачканную сажей форму, пялили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько, на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз, в вечереющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто попрежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки.

— Хорошо, — сказал я.

— Хорошо? — переспросил Барнс.

— Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку.

И я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнсу, которого распирало от незаданных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку, здесь уже разинула жадную пасть огромная походная Адская топка приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно синие языки огня; а из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц, наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали наземь с перебитыми крыльями; люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в алчное жерло. Мы прошли мимо

этой разрушительной, хоть и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил:

— Забавно. Такое дело, должен бы собраться народ… А народу нет. Отчего это, по-твоему?

Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом.

В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик, и Джонатан Барнс (он и сам не мог бы объяснить, почему злится) закричал:

— Поживей там! Меня ждет работа!

Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках. Поглядел на меня. Я ему подмигнул.

Уолтер поглядел на Барнса.

— «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы», — сказал Уолтер.

Барнс захлопал глазами:

— Что такое?

— «Зови меня Измаилом», — сказал Уолтер.

— Для начала дай нам кофе, Измаил, — сказал я.

Уолтер пошел и принес кофе.

— «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи!» — сказал он и преспокойно пошел прочь.

Барнс круглыми глазами посмотрел ему вслед.

— Чего это он? Чокнутый, что ли?

— Нет, — сказал я. — Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни.

— Объяснить? — повторил Барнс. — До чего ж вы все обожаете рассуждать. Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно сорок девять процентов и две десятых. И потом доложим о наших успехах Высшей правительственной комиссии…

— Великолепно, — сказал я.

Барнс уставился на меня:

— С чего это ты радуешься?

— Для всякой библиотеки головоломная задача — где разместить книги, сказал я. — А ты мне помог ее решить.

— Я думал, ты… испугаешься.

— Я весь век прожил среди Мусорщиков.

— Как ты сказал?!

— Жечь — значит жечь. Кто этим занимается, тот Мусорщик.

— Я Главный Блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!

Появилось новое лицо — официант с дымящимся кофейником.

— Привет, Китс, — сказал я.

— «Пора туманов, зрелости полей», — отозвался официант.

— Китс? — переспросил Главный Блюститель. — Его фамилия не Китс.

— Как глупо с моей стороны, — сказал я. — Это же греческий ресторан. Верно, Платон?

Официант налил мне еще кофе.

— «У народов всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собою и возводят в великие… Таков единственный корень, из коего произрастает тиран; вначале же он предстает как защитник».

Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе.

— Я так считаю, наш план прост, как дважды два, — сказал он.

— Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво, — промолвил официант.

— К чертям! — Со стуком Барнс отставил чашку. — Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, ты, как тебя — Китс, Платон, Холдридж… Ага, вспомнил! Холдридж, вот как твоя фамилия!.. А что еще он тут болтал?

— Так, — сказал я. — Фантазия. Просто выдумки.

— К чертям фантазию, к дьяволу выдумки, можешь есть один, я ухожу, хватит с меня этого сумасшедшего дома!

И он залпом допил кофе, официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел, а напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали, только смотрели, и под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке, по его подбородку стекали капли кофе.

— Ну, чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?

— А я дерусь, — сказал я и вытащил томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал: «Если даже человек избегнул всех других опасностей, никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему».

Барнс с воплем вскочил, и вот в мгновение ока сигара выхвачена у меня изо рта и растоптана, и Главный Блюститель уже за дверью.

Мне оставалось только последовать за ним.

На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку.

— Здравствуйте, профессор Эйнштейн, — сказал я.

— Здравствуйте, мистер Шекспир, — отозвался он.

Барнс сбежал.

Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки; черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву: лужайку устилали подстреленные на лету книги-голуби, умирающие книги-фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но… их собирали без шума. И пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем; он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтобы никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках — дадут ли наконец разрядиться? прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кафе, на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище, урча, пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс, не мигая, глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища.

— Послушайте, вы! — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. — По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в девять. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось бы нарушать закон… Добрый вечер, мистер Линкольн.

— «Восемьдесят семь лет…» — сказал, проходя, тот, к кому я обращался.

— Линкольн? — Главный Блюститель медленно обернулся. — Это Боумен, Чарли Боумен. Я тебя знаю, Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!

Но тот уже скрылся из виду; в печи пылали все новые книги; мимо проезжали машины, порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался; и звучало ли «Мистер По!», или просто «Привет!», или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался к примеру, на имя «Фрейд», — всякий раз, как я весело окликал их и они отвечали, Барнса передергивало, будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной яростью. А толпа так и не собралась, никого не привлекла необычная суматоха.

Внезапно, без всякой видимой причины, Барнс крепко

зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:

— Стойте!

Люди в черном перестали швырять книги из окна.

— Но ведь закрывать еще рано, — сказал я.

— Пора закрывать! Выходите все!

Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух. Судорожно дернул ими книзу. И все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели.

Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки.

— Вот, Главный Блюститель, — сказал я и протянул ему ключ; он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему и руку. — Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело.

Глаза Главного Блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.

— И давно… давно это тянется?

— Что это?

— Это… и все… и они.

Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки, и кивали мне на прощание, и скрывались в холодном вечернем сумраке, все до единого — друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окоченелый язык:

— Может, вы все надеетесь меня провести? Меня? Меня?!

Я не ответил.

— Почем ты знаешь, — продолжал он, — может, я и людей стану жечь, не одни книги?

Я не ответил.

Я ушел и оставил его в темноте.

В зале я стал принимать последние книги у читателей, они уже расходились, ведь наступил вечер и всюду сгустились тени; огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а Главный Блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди. Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал вслед за походной печью, она уже тяжело катила прочь — приземистая черная погребальная урна, что тянула за собою длинные развевающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа.

Я сидел и слушал.

В дальних комнатах, налитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща, так славно, по-осеннему шуршат листы, пронесется еле слышный вздох, мелькнет еле уловимая усмешка, слабое движение руки, блеснет кольцо, понимающе, по-беличьи зорко глянет чей-то глаз. Меж наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин, в ночь — и эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться.

В девять я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мною вышел последний читатель, старый человек; пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:

— Могут они прийти опять?

— Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?

Старик взял меня за руку.

— «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе…»

Мы спустились с крыльца.

— Добрый вечер, Исайя, — сказал я.

— Спокойной ночи, мистер Сократ, — сказал он.

И в темноте каждый пошел своей дорогой.

Эдмонд Гамильтон
Гостиница вне нашего мира

Гостиница вне нашего мира: рассказ, пер. с англ.
The Inn Outside the World, 1945

У нашего мира есть мир-двойник, время в котором течёт во много раз медленнее. Выдающиеся люди в нашем мире передают друг другу по наследству Знак, с помощью которого осуществляется проникновение в другой мир и таким образом встречаются между собой. Это позволяет им (Сократу, Рабле и другим) сообща решать какие-то общие проблемы и пр.

в кн.: Планета Норагаль. — с. 336–352.

Текст в сети отсутствует

Уаймен Гвин
Планерята

Их было трое. То есть в биоускорителе спали еще десятки маленьких беспомощных мутантов, от одного вида которых любой высокоученый зоолог впал бы в истерику. Но э т и х было трое. Сердце у меня так и подпрыгнуло.

Я услышал быстрый топоток — по зверинцу бежала дочка, в руке у нее бренчали ролики. Я закрыл ускоритель и пошел к двери. Дочь изо всех силенок дергала и вертела ручку, пытаясь нащупать секрет замка.

Я отпер, чуть приотворил дверь и выскользнул наружу. Как моя девчонка ни изворачивалась и ни косилась, ей не удалось заглянуть в лабораторию. Надо запастись терпением, подумал я.

— Что, не можешь приладить ролики?

— Пап, я старалась, старалась, никак не привинчу.

— Ладно, девица. Садись на стул.

Я нагнулся и надел ей ролик. Он сидел на ботинке как влитой, Я затянул ремешки и сделал вид, будто прикручиваю винт.

Наконец-то планерята. Трое, Я всегда был уверен, что все-таки их получу, уже лет десять я зову их этим именем. Нет, даже двенадцать. Я поглядел в угол зверинца, где старик Нижинский просунул сквозь прутья клетки седеющую голову. Я назвал их планерятами с того дня, как удлиненные руки Нижинского и кожистые складки на лапах его родича подали мне мысль вывести летающего мутанта.

Заметив, что я на него смотрю, Нижинский принялся отплясывать что-то вроде тарантеллы. Он кружил по клетке, мизинцы у него на руках — вчетверо длиннее остальных пальцев — разогнулись, и я невольно улыбнулся воспоминанию, даже сердце защемило.

Потом я стал прилаживать дочке ролик на другую ногу,

— Пап!

— Да?

— Мама говорит, ты чудак. Ты правда чудак?

— Вот я ее спрошу.

— А разве ты сам не знаешь?

— А ты понимаешь, что такое чудак?

— Не…

Я поднял ее и поставил на ноги.

— Скажи маме, что мы с ней квиты. Скажи — она красавица.

Дочка неуклюже покатилась между рядами клеток, и все мутанты, покрытые коричневой и голубой шерстью, то чересчур густой, то чересчур редкой, непомерно длиннорукие и смехотворно короткопалые, повернули свои обезьянья, собачьи, кроличьи мордочки и уставились на нее. На пороге она оглянулась, чуть не шлепнулась и помахала мне на прощанье.

Я вернулся в лабораторию, достал из биоускорителя моих первых планерят и вытащил уже не нужные иголки для внутривенного вливания. Перенес их, маленьких, беспомощных, на матрас — двух самочек и самца. В ускорителе они меньше чем за месяц стели почти взрослыми. Пройдет еще несколько часов, пока они зашевелятся, начнут учиться есть, играть и, может быть, летать.

Но уже и сейчас ясно, что опыт наконец-то удался и мутанты жизнеспособны. Получилось нечто необычное, но полное смысла и гармонии. Не какие-нибудь чудовища, уродливый плод сильного облучения. Нет, это были очаровательные существа без малейшего изъяна.

К двери подошла моя жеча.

— Завтракать, милый.

Она тоже попыталась открыть, но осторожнее — словно бы нечаянно взялась за ручку,

— Иду.

Она тоже попыталась заглянуть внутрь, как пыталась уже пятнадцать лет, но я выскользнул в щелку, загородив собою лабораторию,

— Идем, старый отшельник. Завтрак на террасе.

— Наша дочь говорят, что я чудак. Как это она догадалась, черт возьми?

— Слышала от меня, разумеется.

— Но ты меня все равно любишь?

— Обожаю!

Стол накрытый на террасе, выглядел восхитительно. Горничная как раз принесла горячие сосиски. Я легонько ущипнул ее.

— Привет, малютка!

Жена растерянно улыбнулась и посмотрела на меня круглыми глазами.

— Что на тебя нашло?

Горничная убежала в дом.

Я ухватил сосиску, шлепнул на тарелку ломтик лука, полил сосиску соусом и прикрыл луком. Откупорил бутылку пива и стал жадно пить прямо из горлышка, потом перевел дух, поглядел на дубовую рощу и мягко круглящиеся холмы нашего ранчо и вдаль,

где мерцал под солнцем Тихий океан. Все это, подумал я, и трое планерят в придачу.

По одну сторону террасы загремели ролики, по другую — конский галоп.

Сын круто осадил пони — мой подарок ко дню рождения (ему только что исполнилось четырнадцать). Жена придвинула мне салат, я жевал и смотрел, как сын расседлал лошадку, хлопнул ее по крупу и она побежала на луг.

«Вот бы он вскинулся, если бы узнал, что у меня там, в лаборатории, подумал я, — Все они с ума бы сошли…»

— Слушай, что с тобой творится? — спросила жена. — С той минуты, как ты вышел из лаборатории, ты не перестаешь ухмыляться, будто разыгравшийся орангутанг.

— Я нашел новую забаву.

Она потянулась и схватила меня за ухо. Прищурилась, с напускной суровостью поджала губы.

— Это шутка, — сказал я. — Хочу сыграть отличную шутку с целым светом. Когда-то со мной уже было что-то похожее, но…

— А именно?

— Ну, мы тогда жили в Оклахоме, отец нашел там нефть и разбогател. Городишко был маленький, я бродил по полю и наткнулся на кучу плоских камней, а под каждым камнем свернулся ужонок. Я набрал их полное ведро, принес в город и высыпал на тротуар перед кинотеатром, там как раз кончался утренний сеанс. Главное, никто меня не видал. И никто не мог понять, откуда взялось столько змей. Вот тут я и испробовал, до чего это здорово: всех поразил, а сам стоишь и любуешься, как ни в чем не бывало.

Жена отпустила мое ухо.

— Значит вот как ты намерен забавляться?

— Ага… Прости, родная, я доем и побегу. У меня в лаборатории спешное дело.

По совести говоря, в лаборатории меня ждало такое, на что я и не рассчитывал. Я собирался только вывести летучее млекопитающее, которое скользило и планировало бы в воздухе немного лучше, чем сумчатая австралийская летяга. Даже среди ранних моих мутантов в последние годы появились такие, которые очень далеко ушли от обыкновенных крыс (с крыс я начал) и определенно напоминали обезьян. А эти первые планерята поразительно походили на людей.

Притом они гораздо быстрее, чем их предшественники, выходили из спячки, во время которой в биоускорителе совершилось их стремительное созревание, и уже пробуждались к активной жизнедеятельности. Когда я вошел в лабораторию, они

ворочались на матрасе, а самец даже пытался встать.

Он был немного крупней самочек — рост двадцать восемь дюймов. Все трое покрыты мягким золотистым пушком. Но лицо, грудь и живот — чистые, вместо шерстки гладкая розовая кожа. На головах у всех троих, а у самца и на плечах шерсть гуще и длиннее — гривкой, мягкая, точно шиншилла. Лица совсем человеческие, очень трогательные, только глаза огромные, круглые — ночные глаза. Соотношение головы и туловища то же, что и у человека.

Самец развел руки во всю ширь-размах оказался сорок восемь дюймов. Я придержал руки, легонько потормошил, мне хотелось, чтобы он выпустил шпоры. Это не новинка. В основной колонии детеныши уже много лет рождались со шпорами, после ряда мутаций удлиненные мизинцы (впервые они появились у Нижинского) стали гораздо длиннее. Теперь шпора не была суставчатой, как палец, — она круто отгибалась назад, плотно прилегая к запястью, и доходила почти до локтя. Сильные мускулы кисти могли резко выбросить ее вперед и кнаружи. Я тормошил планеренка и наконец дождался,

Шпоры прибавили к размаху рук по девять дюймов справа и слева. Когда он внезапно выпустил их, кожа с боков, прежде свисавшая складками, натянулась, распахнулись золотые крылья; от кончика шпоры до пояса и ниже, шириною в четыре дюйма вдоль бедра; нижний край крыла сращен с мизинцем ноги.

Такого великолепного крыла я еще не получал. Крыло настоящего планера, пригодное, пожалуй, не только для спуска, но и для подъема. У меня даже холодок пробежал по спине.

К четырем часам дня я дал им плотно поесть, и теперь они пили воду из маленьких чешек: держали их в руках совсем по-человечьи, сложив шпоры. Они были подвижные, любопытные, игривые и явно влюбчивые.

И все отчетливей проступало сходство с человеком. Налицо поясничный изгиб позвоночника и ягодицы. Плечи и грудная клетка, разумеется, массивные, развиты не по росту, но у самочек только одна пара сосцов. Строение подбородка и челюстей уже не обезьянье, а человеческое, и зубы под стать. Я вдруг понял, что это сулит, и внутренне ахнул.

Став коленями на матрас, я шлепал и тормошил самца, будто возился с щенком, а одна самочка тем временем играючи вскарабкалась мне на спину. Я дотянулся до нее через плечо, стащил вниз и усадил на матрас. Погладил пушистую головку и сказал:

— Здравствуй, красотка, здравствуй! Самец поглядел на меня и весело оскалил зубы.

— Здастуй, здастуй, — повторил он.

Когда я вышел в кухню, у меня голова шла кругом; шутка удалась на славу!

Жена встретила меня словами:

— К обеду прилетят Гай и Эми. Эта его ракета, которую запустили в пустыне, превзошла все ожидания. Гай на седьмом небе и хочет отпраздновать успех.

Я наскоро сплясал жигу, прямо как Нижинский.

— Чудно! Превосходно! Ай да Гай! У всех у нас успехи. Чудно! Превосходно! Успех за успехом!

Жена изумленно смотрела на меня.

— Ты что, пил в лаборатории спирт?

— Я пил нектар, напиток богов. Гера моя, ты — законная супруга Зевса. И у меня есть свои маленькие греки, потомки Икара!

…Потом я сидел в шезлонге на террасе, потягивал коктейль и смотрел, как под косыми вечерними лучами золотятся наши живописные холмы. И мечтал. Надо изобрести несколько сот слов поблагозвучнее и обучить планерят — у них будет свой язык, И свои ремесла. И жить они станут в домиках на деревьях.

Я сочиню для них предания: будто они прилетели со звезд и видели, как появились среди здешних холмов первые краснокожие люди, а потом и белые.

Когда они станут самостоятельными, я выпущу их на волю. Никто еще не успеет ничего заподозрить, а уже на всем побережье обоснуются колонии планерят. И в один прекрасный день кто-нибудь увидит планеренка. Газеты поднимут очевидца на смех.

А потом колонию обнаружит какой-нибудь ученый муж и станет наблюдать. И придет к заключению: «Я убежден, что у них есть свой язык и они разумны».

Правительство опубликует опровержения. Репортеры примутся «устанавливать истину» и спрашивать; «Откуда явились эти пришельцы?» Правительство волей-неволей признает факты. Лингвисты вплотную возьмутся за изучение несложного языка планерят. Выплывут на свет божий предания.

Планерятская мудрость будет возведена в культ, а ведь из всех видов комедии всякие культы и суеверия, по-моему, самые потешные.

— Ты меня слушаешь, милый? — с терпеливым нетерпением спросила жена.

— А? Да-да, конечно!

— Чудак, ты ни слова не слыхал. Сидишь и ухмыляешься неизвестно чему.

…Из-за гряды холмов появился вертолет и полетел невысоко

над дубовой рощей прямо к нам. Гай мягко посадил его на площадке. Мы пошли навстречу гостям. Я помог Эми выйти и обнял ее. Гай соскочил неземь, спросил быстро:

— У вас телевизор включен?

— Нет, — сказал я, — А что, надо включить?

— Передача сейчас начнется. Я боялся — опоздаем.

— Какая передача?

— Очнись, милый! — взмолилась жена. — Я же тебе говорила о ракете Гая. Газеты только о ней и пишут. — И когда мы поднялись на террасу, прибавила, обращаясь к ним обоим: — Он сегодня какой-то не от мира сего. Вообразил себя Зевсом.

Я стал готовить друзьям коктейли, а сына попросил выкатить телевизор на террасу. Потом мы все уселись и, потягивая мартини (детям дали фруктовый сок), смотрели эту самую передачу.

Какой-то малый из Калифорнийского технологического давал объяснения к чертежам многоступенчатой ракеты. Послушав немного, я поднялся:

— Мне надо заглянуть в лабораторию, кое-что проверить.

— Подожди минуту, — запротестовал Гай. — Сейчас покажут пуск.

Жена поглядела на меня… сами знаете, как в этих случаях смотрят жены. Я сел.

На экране появилась стартовая площадка в пустыне. И наш друг Гай самолично объяснял, что, когда он нажмет вот эту кнопку, люк третьей ступени огромной ракеты, виднеющейся позади него, закроется, а через пять минут корабль взлетит.

Гай на экране нажал кнопку. Гай рядом со мной вроде как ахнул тихонько. Люк на экране медленно закрылся.

— А лихо ты выглядишь, — сказал я. — Настоящий космический волк. Во что это ты выпалил?

— Милый… по-жа-луйста… помолчи!

— Да уж, пап! Вечно ты остришь некстати.

Гай на экране крупным планом, страшно серьезный, что-то еще объяснял, и только тут до меня дошло: это та самая ракета с научной аппаратурой, ее давно собирались запустить на Луну. Она будет оттуда передавать информацию по радио. Вот это да? Мне стало совестно за мое легкомысленное поведение, я дотянулся до Гая и похлопал его по плечу. У меня даже мелькнуло: не сказать ли ему про планерят? Но я тут же раздумал.

У основания ракеты возник огненный шар. Тяжеловесная башня словно чудом поднялась в воздух, миг будто стояла на огненной колонне — и скрылась из глаз.

На экране опять была студия, диктор объяснил, что фильм, который мы только что видели, снят позавчера. А сегодня уже известно, что третья ступень ракеты успешно прилунилась на южном берегу Моря Ясности. И он показал на большой лунной карте место посадки.

— Отсюда передатчик, получивший прозвище Чарли-Ракета, несколько месяцев будет сообщать научные данные. А сейчас, леди и джентльмены, мы предоставим слово самому Чарли-Ракете, Слушайте Чарли-Ракету!

На экране появился циферблат часов, несколько секунд было тихо.

— Вот здорово, дядя Гай! — прошептал мой сын.

— Знаешь, Эми, у меня даже голова кружится, — сказала жена.

И вдруг на экране появился лунный пейзаж, совсем такой, как всегда рисуют. И зазвучал голос автомата:

— Говорит Чарли-Ракета с места посадки у Моря Ясности. Привет, Земля? Сначала я на пятнадцать секунд дам панораму Гор Менелая. Потом на пять секунд направлю объектив на Землю.

Телекамера медленно поворачивалась, перед глазами торжественно проплывали застывшие, устрашающе, дикие горы. В конце этого кругового движения передний план пересекла тень от вертикально стоящей третьей ступени ракеты.

Внезапно камера метнулась прочь, мгновение настраивалась на фокус — и мы увидели Землю. В этот час над Калифорнией Луна еще не взошла. Мы смотрели на Африку и Европу.

— Говорит Чарли-Ракета. До свидания, Земля.

Ну, тут экран погас и на террасе поднялась кутерьма. Гай, огромный взрослый дядя, утирал слезы радости. Женщины обнимали и целовали его. И все разом что-то кричали.

При помощи биоускорителя я сократил срок зародышевого развития планерят до одной недели. Потом, опять же с его помощью, ускорил их дальнейшее развитие и рост: младенец за месяц становился взрослым. Волею случая почти все первые младенцы оказались самочками, так что дело пошло очень быстро.

К весне у меня было уже больше сотни планерят, и я выключил ускоритель. Теперь пускай сами заводят детенышей.

Я составил для них язык и, пока самки в биоускорителе ожидали потомства, учил самцов. Они говорили мягко, тоненькими голосами, багаж в восемьсот слов, видимо, ничуть их не обременял.

Жена с ребятами на неделю поехала на побережье, я воспользовался случаем и украдкой вывел самого старшего самца

и двух его подружек из лаборатории.

Я усадил их рядом с собою в джип и повез в укромную лощинку на нашем ранчо, примерно за милю от дома.

Все трое изумленно озирались по сторонам и трещали без умолку. Показывали на все кругом и одолевали меня вопросами, как на их языке называются дерево, камень, небо. «Небо» далось им не сразу.

Только теперь, вне стен лаборатории, я вполне оценил, до чего хороши мои планерята. Они на диво подходили к рощам, холмам и долинам Калифорнии. Порой они взмахивали руками, распрямляли шпоры и распахивались великолепные крылья.

Прошло почти два часа, прежде чем самец, поднялся в воздух. Позабыв на минуту о новом незнакомом мире, который так забавно и любопытно было осматривать, он погнался за подружкой. Она по обыкновению только того и хотела, чтобы он ее поймал, и неожиданно остановилась у подножия невысокого бугра.

Он, наверно, хотел прыгнуть за нею. Но когда он развел руки, шпоры расправились и золотые крылья рассекли воздух. Охотник внезапно взмыл над беглянкой. Ветерок подхватил его, понес выше, выше и на долгие секунды он повис в тридцати футах над землей.

Он повернул ко мне жалостную рожицу, испуганно нырнул вниз головой, и его понесло прямиком на куст терновника. Невольно он отпрянул, золотой молнией метнулся к нам и свалился в траву.

Обе самочки подбежали к нему раньше меня, гладили его, суетились, так что я не мог до него добраться. Вдруг он взвизгнул, громко засмеялся. И пошла потеха.

Они учились с блеском и очень быстро. Они созданы были не для полета, а для того, чтобы планировать, скользить на крыле. И вскоре они уже овладели этим искусством: проворно вскарабкаются на дерево, прыгнут и плывут по воздуху сотни футов, описывая изящные виражи, петли, спирали, и, наконец, мягко приземляются.

Я громко рассмеялся, предвкушая счастливые минуты. Подождите, пока первую парочку представят шерифу! Подождите, пока в наши края прикатят репортеры из «Кроникл» и увидят все это своими глазами!

Понятно, планерятам не хотелось возвращаться в лабораторию. Среди холмов струился ручеек, в одном месте он разливался вполне приличным озерком. Малыши забрались туда и стали шлепать длинными руками по воде и усердно мыть друг друга. Потом вылезли и растянулись на спине, раскинув крылья

во всю ширь, чтобы просохли.

Я смотрел на них с нежностью и думал: разумно ли оставить их тут? Что ж, рано или поздно этого не миновать. И сколько бы я ни объяснял им, как надо себя вести, чтобы выжить, толика практического опыта будет куда полезней. Я подозвал самца.

Он подошел, сел на корточки, локтями оперся оземь, руки скрестил на груди — видно, готовился к обстоятельной беседе. И заговорил первый:

— Пока не пришли краснокожие люди, мы жили в этом месте?

— Вы жили в таких же местах, повсюду среди гор. Теперь вас осталось очень мало. За то время, пока вы были у меня в доме, вы, естественно, забыли, как надо жить под открытым небом.

— Мы опять научимся. Мы хотим остаться здесь. У него была такая серьезная, озабоченная рожица, что я протянул руку и ободряюще потрепал его по гривке.

Над нами послышался шелест крыльев. Два лесных голубя пролетели над ручьем и скрылись в ветвях дуба на другом берегу.

— Вот ваша пища, если только вы сумеете их убивать, — сказал я.

— А как?

— На дереве ты их вряд ли поймаешь. Надо подняться повыше и поймать одного в воздухе, когда они полетят прочь. Как, потвоему, сможешь ты подняться так высоко?

Он медленно осмотрелся, словно измеряя взглядом ветерок, что играл в ветвях и пробегал по траве на склоне холма. Казалось, он летал уже тысячи лет и теперь обращается к извечному опыту.

— Я могу подняться вон туда. И могу немного продержаться. А они долго просидят на дереве?

— Может быть, и нет. Посматривай на это дерево, вдруг они снимутся, пока ты будешь взбираться по стволу.

Он отбежал к соседнему дубу и начал карабкаться наверх. Вскоре он уже спрыгнул с макушки, метнулся вдоль по лощине, и почти тотчас его подхватило теплым током воздуха, восходящим по склону холма. В мгновение ока он очутился уже на высоте примерно двухсот футов. Повернул над вершиной холма и направился обратно к нам.

Обе подружки неотрывно следили за ним. В недоумении двинулись ко мне, то и дело оглядываясь. Подошли, молча остановились рядом со мной. И, заслоняясь от солнца крохотными ладонями, следили, как он пронесся прямо над нами на высоте чуть ли не двухсот пятидесяти футов.

Одна, все не сводя глаз с его распахнутых крыльев, крепко ухватила меня за рукав.

Он пронесся высоко над ручьем и повис над тем холмом, где опустились голуби. В листве дуба слышалось их воркованье. Я подумал — они не расстанутся со своим убежищем, пока так близко над ними темнеет ястребиный силуэт планеренка.

Я сжал палку, вцепившуюся в мой рукав, и, показывая пальцем, сказал:

— Он хочет поймать птицу. Птица вон там, на дереве. Заставь птицу взлететь, тогда он ее поймает. Смотри, — я поднялся, подобрал с земли палку. — Можешь ты сделать вот так?

И я запустил палкой в соседний дуб. Потом нашел для малышки другой сучок. Она кинула его лучше, чем я ожидал.

— Молодец, девочка. Теперь беги на другой берег, к тому дубу, и кинь в него палкой.

Она ловко вскарабкалась на дуб рядом с нами и метнулась через ручей. Устремилась к холму напротив и без промаха опустилась на то дерево, где прятались голуби.

Птицы вырвались из гущи ветвей и, мягко взмахивая крыльями, круто пошли вверх.

Мы со второй самочкой оглянулись. Паривший в небе планеренок наполовину сложил крылья и канул вниз — золотая молния в синеве.

Голуби оборвали подъем и, торопливо махая крыльями, кинулись в сторону. Планеренок приоткрыл одно крыло. Головокружительный поворот — и он уже вновь сверкающей стрелой мчится вниз.

Голуби разделились и зигзагами бросились в конец лощины. Тут планеренок меня удивил: внезапно он распахнул крылья и опустился ниже того голубя, за которым гнался, потом взмыл вверх и перехватил его на лету.

На миг он сложил крылья. Затем они вновь распахнулись, голубь камнем упал на склон холма. А планеренок мягко опустился на вершине и стоял там, глядя на нас.

Самочка рядом со мной прыгала от восторга и выкрикивала что-то свое, непонятное. Та, что спугнула голубей с дерева, уже скользила к нам по воздуху, стрекоча, точно сойка.

То был настоящий триумф. Спускаться герою пришлось, конечно, пешком он не мог держаться в воздухе с такой ношей. Подружки, разбежавшись, взлетели ему навстречу. Они осыпали его ласками и на время задержали, но наконец он сошел с холма, гордый и важный, как всякий удачливый охотник.

Птица вызывала восторг и любопытство. Они тормошили ее, диких. Но вскоре охотник обернулся ко мне:

— Нам это съесть?

Я засмеялся и сжал его четырехпалую лапку. На песчаном

пятачке под дубом, осенявшим ручей, я развел крохотный костер. Это было еще одно чудо, но сперва следовало научить их чистить птицу. Потом я показал, как насадить ее на вертел и поворачивать над огнем.

А потом я принял участие в трапезе-отщипнул клочок голубятины. Во время пиршества они шумно ликовали и целовались лоснящимися от жира губами.

Уже стемнело, когда я спохватился, что мне пора. Предупредил их, чтобы по очереди стояли на часах, не давали огню угаснуть, а если кого-нибудь заслышат, взобрались бы на дерево. Самец отошел от костра, провожая меня.

— Обещай, что вы никуда отсюда не уйдете, пока все не будут к этому готовы, — снова сказал я.

— Нам тут нравится. Мы останемся. Завтра ты принесешь других?

— Да, я принесу еще, вас много, только обещай держать всех тут, в лесу, до тех пор, пока вам можно будет переселиться в другое место.

— Обещаю. — Он поднял глаза к ночному небу, в отсвете костра я увидел на его лице недоумение. — Ты говоришь, мы прилетели оттуда?

— Так мне рассказывали ваши старики. А тебе они разве не говорили?

— Я не помню стариков. Расскажи.

— Старики рассказывали, что вы прилетели на корабле со звезд задолго до того, как сюда пришли краснокожие люди.

Я стоял в темноте и невольно улыбался, представляя себе воскресные выпуски газет, которые появятся эдак через год, а то и раньше.

Он долго смотрел в небо.

— Эти точки, которые светятся, это и есть звезды?

— Да.

— Которая наша?

Я огляделся и показал:

— Вон, над тем деревом. Вы с Венеры. — И тут же спохватился: не надо было говорить ему подлинное имя. — На вашем языке она называется Пота.

Он пристально посмотрел на далекую планету и пробормотал:

— Венера. Пота.

На следующей неделе я переправил в дубовую рощу всех планерят. Их было сто семь — мужчин, женщин и детей. Неожиданно для меня они разделились на группы от четырех до восьми взрослых пар и тут же, при матерях, ребятишки. Внутри

группы взрослые не разбивались на супружеские пары, но, по-видимому, за пределы группы эти отношения не выходили. Таким образом, группа выглядела как одна большая семья, мужчины заботились обо всех детях без разбору и одинаково их баловали.

К концу недели эти сверхсемьи рассеялись по нашему ранчо примерно на четыре квадратных мили. Они открыли для себя новое лакомство — воробьев, и без труда били эту дичь, когда она устраивалась на ночлег. Я научил планерят добывать огонь трением, и они уже мастерили на деревьях затейливые домики-беседки из травы, ветвей и вьющихся растений — к днем и ночью там спокойно спала детвора, а иногда и взрослые.

В тот день, когда вернулась моя жена с детьми, у нас хлопотала целая артель рабочих; сносили зверинец и лабораторию. Всех подопытных мутантов еще раньше усыпили, биоускоритель и прочее лабораторное оборудование разобрали. Пусть не останется ничего такого, что потом дало бы повод как-то связать внезапное появление планерят со мной и моим ранчо. Через считанные недели планерята наверняка научатся существовать вполне самостоятельно и у них сложатся начатки собственной культуры. Тогда им можно будет уйти с моей земли — и тут-то я позабавлюсь.

Жена вышла из машины, поглядела на рабочих, торопливо разбиравших остов зверинца и лаборатории, спросила с недоумением:

— Что тут творится?

— Я закончил работу, эти постройки больше не нужны. Теперь я напишу доклад о том, что показали мои исследования. Жена испытующе поглядела на меня и покачала головой.

— А я-то думала, ты это серьезно. Написать бы надо. Это был бы твой первый ученый труд.

— А куда делись животные? — спросил сын.

— Я их передал университету для дальнейшего изучения, — солгал я.

— Решительный мужчина наш папка! — сказал сын. Через двадцать четыре часа на ранчо не осталось ни следа каких-либо опытов над животными.

Если, конечно, не считать того, что рощи и леса кишели планерятами. По вечерам, сидя на террасе, я их слышал. Они пролетали в темной вышине, и до меня доносились болтовня, смех, а порой и любовный вздох. Однажды стайка их медленно пересекла диск полной луны, но, кроме меня, никто ничего не заметил.

Каждый день я ходил в первый лагерь планерят навестить старшего самца — он, видимо, утвердился как вожак всех семей.

Он заверял меня, что планерята не отдаляются от ранчо, но и жаловался: дичи становится маловато. В остальном все хорошо.

Планерята-мужчины вооружились маленькими копьями с каменными наконечниками и оперенными древками и метали их на лету. По ночам они сбивали этим оружием с насеста спящих воробьев, а днем убивали самую крупную дичь — кроликов.

Женщины теперь украшали голову пестрыми перьями сойки. Мужчины носили голубиные перья, а иногда набедренные повязки из кроличьего пуха. Я кое-что почитал и научил их примитивным способом дубить беличьи и кроличьи шкурки: пригодятся для древесных жилищ.

Жилища эти строились все более искусно: стены и пол ловко сплетены из прутьев, кровля плотно уложенная дранка. Снизу, по моей подсказке, домики были отлично замаскированы.

Чем дальше, тем больше я восхищался своими малышами. Я мог часами смотреть, как взрослые — и мужчины и женщины — играют с детьми или учат их летать. Мог просидеть целый день, глядя, как они строят древесный домик.

И однажды жена спросила:

— Что ты делал в лесу, наш великий охотник?

— Отлично провел время. Наблюдал всяких лесных жителей.

— Вот и наша дочь тоже.

— То есть?

— У нее сейчас в гостях двое.

— Кто двое?

— А я не знаю. Ты-то самих как называешь?

Перемахивая через три ступеньки, я бросился вверх по лестнице и ворвался в комнату дочери.

Она сидела на кровати и читала книжку двум планерятам. Один широко улыбнулся мне и сказал по-английски:

— Привет, король Артур!

— Что тут происходит? — спросил я всех троих.

— Ничего, папочка. Просто мы читаем, как всегда.

— Как всегда? И давно это тянется?

— О, уже сколько недель! Когда ты первый раз пришел ко мне в гости. Пушок?

Нахальный планеренок, который назвал меня королем Артуром, улыбнулся ей и, словно бы подсчитав, повторил:

— О, уже сколько недель!

— Но ты их учишь читать!

— Ну конечно. Они очень способные и очень благодарны мне. Папа, ты ведь их не прогонишь? Мы с ними очень любим друг дружку. Правда?

Планерята усиленно закивали. Дочь опять обернулась ко мне.

— А знаешь, пап, они умеют летать! Вылетают из окна — и прямо в небо!

— Вот как? — язвительно осведомился я и холодно посмотрел на обоих планерят. — Придется поговорить с вашим вождем. Внизу я напустился на жену:

— Почему ты мне не сказала, что творится в доме? Как ты могла разрешить это знакомство и не посоветоваться со мной?

У жены стало такое лицо… уж и не знаю, когда я видел ее такой.

— Вот что, милостивый государь. Вся твоя жизнь для нас — секрет. Так с чего ты взял, что и у дочки не могут завестись свои маленькие секреты?

Она подошла ко мне совсем близко, в голубых глазах сверкали сердитые искры.

— Напрасно я тебе сказала. Я ей обещала не говорить ни одной живой душе. А тебе сказала — и вот, не угодно ли! Носишься по всему дому как бешеный только потому, что у девочки есть свой секрет.

— Хорош секрет! — заорал я. — А ты не подумала, что это может быть опасно? Эти зверюшки чувственны сверх меры и…

Я запнулся, настало ужасное молчание. Жена посмотрела на меня с язвительной, недоброй усмешкой.

— С чего это ты вдруг стал таким стражем добродетели, прямо как евнух при гареме? Они очень милые, ласковые создания и совершенно безобидные. Только не воображай, будто я не понимаю, что к чему. Ты сам же их вывел. И если у них есть какие-нибудь нечистые мысли, я уж знаю, откуда они их набрались.

Я вихрем вылетел из дому. Вскочил в джип и понесся в дубовую рощу.

Вождь наслаждался жизнью. Прислонясь спиной к стволу, он уютно расположился под дубом, в ветвях которого скрывался его домик: одна из женщин жарила для него на маленьком костре воробья. Он приветливо поздоровался со мной на языке планерят.

— Тебе известно, что сейчас двое из твоего племени сидят в комнате у моей дочери? — в сердцах выпалил я.

— Да, конечно, — спокойно ответил он. — Они к ней ходят каждый день. А разве это плохо?

— Она их учит словам людей.

— Ты говорил, некоторые люди могут стать нам врагами. Нам непременно надо понимать человеческие слова, тогда будет легче защищаться.

Он протянул руку и откуда-то из-за ствола, из потаенного уголка вытащил на свет божий… номер сан-францисской

«Кроникл»! Я остолбенел.

— Мы это достаем из ящика перед твоим домом, — чуть виновато сказал он.

И разостлал газету на земле. Я увидел дату — газета была вчерашняя. Вождь сказал гордо:

— От тех двоих, которые ходят к тебе в дом, я тоже выучился человеческим словам. Я почти все здесь могу «прочитать», как говорят люди.

Я стоял и смотрел на него, разинув рот. Как теперь поправить дело, чтобы не пропала моя великолепная шутка? Покажется ли правдоподобным, что планерята, слушая и наблюдая людей, выучились человеческому языку? Или с ними подружился человек и научил их?

Да, так: хочешь не хочешь, а надо отказаться от безвестности. Моя семья обнаружила колонию планерят на нашем ранчо, и мы научили их говорить по-человечьи. Буду держаться правды. Вождь повел длинной тонкой рукой над листом газеты.

— Люди опасные. Если мы отсюда уйдем, они застрелят нас из своих ружей.

Я поспешил его успокоить;

— Этого не будет. Когда люди узнают про вас, они вас не тронут. — Я сказал это очень внушительно, однако в душе впервые усомнился: пожалуй, для планерят все это далеко не шутка.

И все-таки продолжал! — Сейчас же отошли семьи подальше друг от друга. Сам со своей семьей оставайся тут, чтоб нам не потерять связь, а другие пускай переселяются. Он покачал головой.

— Нам нельзя уйти из этих лесов. Люди нас застрелят. — Он встал, в упор глядя на меня огромными круглыми глазами ночной птицы. — Может быть, ты нам не друг. Может быть, ты нам говорил неправду. Почему ты говоришь, что нам надо уйти из безопасного места?

— Вам будет лучше. Там будет больше дичи. Он все смотрел мне прямо в глаза.

— Там будут люди. Один уже застрелил одного из нас. Мы его простили, и теперь мы с ним друзья. Но один из нас умер.

Я был ошеломлен.

— Вы подружились еще с одним человеком?! Вождь кивнул и показал в конец лощины:

— Сегодня он там, в гостях у другой семьи.

— Идем!

Порой он с разбегу поднимался в воздух и планировал, но даже несмотря на эти короткие перелеты не поспевал за мной. То

крупно шагая, то переходя на рысь, я держался впереди. Я тяжело дышал — и от усталости и от тревоги; кто знает, как повернется разговор с этим незнакомцем…

За поворотом ручья, у костра, на котором готовили еду, сидел на траве мой сын, играл с крохотным крылатым детенышем и разговаривал со взрослым планеренком. Пока я подходил ближе, сын подбросил детеныша в воздух. Крылышки расправились и малыш плавно опустился на подставленные ладони.

Между тем мой мальчик говорил стоящему рядом планеренку:

— Нет, я уверен, что вы не со звезд. Чем больше думаю, тем больше уверен, что это мой отец…

— Что ты тут болтаешь? — заорал я у него за спиной. Взрослый планеренок подскочил на добрых два фута. Сын медленно повернул голову и посмотрел на меня. Потом передал детеныша планеренку и встал.

— Нечего тебе здесь околачиваться! — кипятился я. Несколькими словами сомнения он погубил весь богатый запас планерятских легенд.

Он отряхнул прилипшие к штанам травинки и выпрямился. И посмотрел на меня так, что я мигом остыл.

— Папа, вчера я убил одного такого человечка. Я охотился, и принял его за ястреба, и застрелил его. Если б ты рассказал мне про них, я бы его не убил.

Я не смел посмотреть ему в лицо. Опустил голову и уставился на траву. У меня горели щеки.

— Вождь говорит, ты настаиваешь, чтобы они поскорее переселились от нас. Ты, видно, думаешь здорово над всеми подшутить, так, что ли?

Я услышал, как подошел вождь и молча остановился позади меня.

Сын сказал тихо:

— По-моему, не слишком удачная шутка, папа. Он так кричал, когда я в него попал…

В траве чернела, шевелилась оживленная муравьиная дорога. Мне почудилось — небо наполнил странный гулкий звон. Наконец я поднял голову и посмотрел на сына.

— Пойдем, мальчик. Я отвезу тебя домой, в машине обо всем поговорим.

— Я лучше пройдусь.

Он слабо махнул рукой планеренку, с которым разговаривал до моего прихода, потом вождю, Перескочил через ручей и скрылся в дубраве.

Планеренок с малышом на руках таращил на меня глаза.

Гдето в дальнем конце лощины каркала ворона. На вождя я не посмотрел. Круто повернулся, прошел мимо него и один зашагал к своему джипу.

Дома я откупорил бутылку пива и уселся на террасе ждать сына. Жена прошла из сада в дом с охапкой срезанных цветов, но не заговорила со мной. На ходу она отрывисто щелкала ножницами.

Над террасой проплыл планеренок и нырнул в окно дочкиной комнаты. Через минуту он мотнулся обратно. И сейчас же за ним выпрыгнули из окна два планеренка, которых я видел у дочки днем. Легко набирая высоту, все трое плавно повернули к востоку, я смотрел им вслед, и нехорошо, смутно было у меня на душе.

Когда я наконец отхлебнул пива, оно было уже теплое. Я отставил его прочь. Немного погодя на террасу выбежала дочка.

— Папочка, мои планерята улетели. Мы даже не досмотрели телевизор, и они попрощались. И сказали, что мы больше не увидимся. Это ты их прогнал?

— Нет. Я не прогонял.

Она посмотрела на меня горящими глазами. Нижняя губа надулась и дрожала, точно розовая слезинка.

— Это ты, папа, ты!

И, громко топая, она с плачем убежала в дом. О господи! За один день я умудрился стать убийцей и лгуном,

Уже вечерело, когда вернулся сын. Заслышав в доме знакомые шаги, я его окликнул, он вышел и остановился передо мной. Я поднялся.

— Прости меня, сын. Мне так горько то, что с тобой случилось — никакими словами не скажешь. Твоей вины тут нет, я один виноват. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь забыть, каково тебе было, когда ты увидел, кого подстрелил. Сам не понимаю, как я не подумал, что может стрястись такая беда. Чересчур увлекся, хотел поразить весь мир — и вот…

Я замолчал на полуслове. Больше говорить было нечего.

— Ты собираешься выставить их с вашего ранчо? — спросил он.

Я растерянно уставился на него.

— После того, что случилось?

— Слушай, пап, а что же ты станешь с ними делать?

— Вот я сейчас пытаюсь решить. Не знаю, что для них будет лучше. — Я взглянул на часы. — Пойдем-ка поговорим с вождем.

Он просиял, дружески хлопнул меня по плечу. Мы побежали к джипу и помчались назад в лощину. Холмы пылали в косых лучах заходящего солнца.

Пробираясь по лощине между темнеющими дубами, мы почти не разговаривали. Мне все сильней становилось не по себе — это смутное чувство охватило меня с той минуты, как трое планерят взлетели с моей террасы и деловито устремились на восток.

У стоянки вождя мы вышли из машины, но здесь никого не было. Костер догорел, чуть розовела кучка углей. Я громко позвал на языке планерят никто не откликнулся.

Мы переходили от стоянки к стоянке — костры всюду погасли. Мы взбирались на деревья-все домики опустели. Мне стало и страшно и муторно. Я звал и звал, пока совсем не охрип. Наконец, уже в темноте, сын взял меня за локоть.

— Что ты думаешь делать, пап?

Я стоял среди пугающего, безмолвного леса, меня била дрожь,

— Придется позвонить в полицию в газеты, предупредить.

— Как по-твоему, куда они девались?

Я посмотрел на восток — там, в исполинском провале меж двух высоких гор, словно светляки в глубокой чаше, роились и мерцали звезды.

— Последние трое, которых я видел, полетели в ту сторону.

Мы пропадали с сыном несколько часов. А когда вышли к ярко освещенной террасе, я заметил на дорожке тень вертолета. И увидел на террасе Гая. Он сгорбился в кресле, обхватив голову руками.

— Он был вне себя, — говорила Эми моей жене. — И ничего не мог поделать. Мне пришлось утащить его оттуда, я и решила, наверно, вы будете не против, если мы прилетим сюда, к вам, и уж тут вместе подумаем, как быть.

Я подошел к ним.

— Здравствуй, Гай. Что случилось?

Он поднял голову, медленно встал и подал мне руку.

— Все идет прахом. Они все погубят, мы даже не решаемся подойти поближе.

— Да что случилось?

— Только мы ее подготовили к пуску.

— Кого подготовили?

— Ракету.

— Какую ракету?

— На Венеру, конечной — простонал Гай. — Ракету «Гарольд»,

— Я как раз говорила Гаю, что мы понятия об этом не имеем, нам неделями не доставляют газету. Я жаловалась… Я махнул жене, чтоб замолчала, и поторопил Гая.

— Давай рассказывай.

— Только я нажал кнопку и люк стал закрываться, откуда ни возьмись туча филинов. Окружили корабль, набились 6 люк, и уж не знаю как, но не дали ему закрыться.

— Наверно, их были сотни, — сказала Эми. — Летят, летят без конца — и прямо в люк. А потом стали выкидывать вон все записывающие приборы. Люди пытались подогнать автотрап, но один филин каким-то прибором ударил моториста по голове, и тот потерял сознание.

Гай обратил ко мне осунувшееся, страдальческое лицо.

— А потом люк закрылся и мы уже не решались подойти к кораблю. Взлет предполагался через пять минут, но он не взлетел. Должно быть, эти треклятые филины…

На востоке полыхнуло яркое зарево. Мы обернулись. За гора — ми по черному бархату неба снизу вверх черкнул золотой карандаш.

— Вот она! — закричал Гай. — Моя ракета! — и докончил со стоном: Все пропало…

Я схватил его за плечи:

— Она не долетит до Венеры?!

Он в отчаянии стряхнул мои руки.

— Конечно, долетит! До автопилота им не добраться. Но ракета ушла без единого записывающего прибора, и даже телепередатчика на борту не осталось. Весь груз — стая филинов. Мой сын рассмеялся.

— Вот так филины! Папка может вам кое-что порассказать.

Я свирепо нахмурился. Он прикусил язык, потом запрыгал по террасе.

— Вот это да! Здорово! Лучше не бывает!

Зазвонил телефон. Проходя по террасе, я стиснул плечо сына; — Молчи! Ни звука!

Он прыснул:

— И сел же ты в калошу, пап. А мне трепаться незачем. Так, разве что иногда про себя посмеюсь.

— Хватит болтать.

Он уцепился за мой локоть и пошел со мной к телефону, корчась от сдерживаемого смеха.

— Погоди, вот люди высадятся на Венере, а венериане им поведают легенду о Великом Бледнолицом Отце из Калифорнии. Вот тогда я все расскажу.

Звонил какой-то бешеный псих, ему срочно требовался Гай. Я стоял возле Гая, и даже до меня долетал крик, несущийся по проводам.

Потом Гай сказал;

— Нет, нет. Что взлет задержался — не беда, автопилот это

скорректирует. Не в том суть. Просто на борту не осталось никаких приборов… Что! Что еще стряслось? Да вы успокойтесь. Ничего не понимаю…

А тем врелленем Эми рассказывала моей жене:

— Знаешь, там вышла очень странная история. Мне показалось, эти филины что-то тащат на спине. А один что-то уронил, и кто-то из людей это поднял и развернул. Такой пакетик из большого листа. И знаешь, что там было? Ты не поверишь; три жареные птички! Зажаренные по всем правилам, с такой румяной корочкой!

Сын подтолкнул меня локтем в бок.

— Молодцы филины, сообразили. Дорога-то дальняя. Я зажал ему рот ладонью. И вдруг увидел, что Гай отвел трубку от уха и рука его беспомощно повисла.

— Сейчас получена радиограмма с борта ракеты, — заикаясь выговорил он, — Верно, радио они не выкинули. Но такой записи у нас там не было… Прокрутите еще раз! — крикнул он в трубку и сунул ее мне.

Несколько минут слышались только треск и помехи. А потом зазвучал записанный на пленку мягкий, тонкий голосок;

— Говорит ракета «Гарольд», все идет хорошо. Говорит ракета «Гарольд», до свиданья, люди!

Короткое молчание — и другой голос заговорил на певучем языке планерят:

— Человек, который нас сделал, мы тебя прощаем. Мы знаем, что не прилетели со звезд, зато мы улетаем и звездам. Я, вождь, приглашаю тебя в гости. До свиданья!

Мы стояли вокруг телефона потрясенные, не в силах заговорить. На меня вдруг нахлынула безмерная печаль.

Долго я стоял и смотрел на восток, где меж черных грудей широко раскинувшейся горы в глубокой чаше роились и мерцали светляки звезд.

А потом я сказал другу моему Гаю:

— Послушай, а скоро ты сумеешь запустить на Венеру ракету с людьми?

notes

Примечания

1

о вкусах не спорят (лат.)

2

следовательно (лат.)

3

Букстехуде Дитрих (1637–1707) — композитор и органист, оказавший большое влияние на Иоганна Себастьяна Баха

4

Что происходит? (исп.)

5

До свиданья сеньор и сеньора (исп.)

6

Простоте душевной (фр.)

7

Зады (фр.)

8

По Фаренгейту, т. е. около 16 ˚C